

ПАВЕЛ КРЕНЁВ

СВЕТЛЫЙ-
ПРЕСВЕТЛЫЙ
день

рассказы и повести



Павел Григорьевич Кренёв

Светлый-пресветлый

день. Рассказы и повести

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30482517

Светлый-пресветлый день. Рассказы и повести: У Никитских ворот;

Москва; 2017

ISBN 978-5-00095-367-9

Аннотация

Павел Григорьевич Кренёв (Поздеев) – коренной помор. Он и его далекие предки родились и выросли на берегу Белого моря, в краю, где гуляли ушкуйники, где стоит запах просмоленных карбасов и водорослей, где до сих пор звучит чудная, напевная поморская «говоря», где люди и сегодня не вешают замки на свои дома. Это древний мир самобытного уклада, уникальной природы, мир крепких и добрых людей.

Вы погрузитесь в этот мир, читая повести и рассказы Павла Кренёва, писателя такого же самобытного и уникального, как и его родина, писателя безусловно классического литературного направления. Он недавно вошел в литературный мир, но сразу же стал заметным и востребованным российским прозаиком.

Погрузитесь в мир этой прозы, и вам не захочется из него возвращаться.

Содержание

Беляк и Пятнышко	6
1	6
2	8
3	10
4	12
5	14
6	19
7	22
8	25
9	28
10	29
11	32
12	35
13	37
14	39
15	41
16	43
17	47
18	49
19	51
20	55
21	57
22	58

23	62
24	65
25	70
26	72
27	76
Дедушко Павлин	79
Митрохины именины	79
Как я хотел стать знаменитым	89
Дядя Вася	96
За форелью	113
Королевская охота	125
Конец ознакомительного фрагмента.	130

Павел Кренёв
Светлый-пресветлый
день. Рассказы и повести

© Кренёв П.Г., 2017

© Оформление ИПО «У Никитских ворот», 2017

Беляк и Пятнышко

1

В самом центре города Архангельска горит Вечный огонь. В короткие, белесые северные ночи пламя его, бледное и желтое, тускловато помаргивает средь серого гранита и совсем почти не освещает прозрачную ширь середки северного лета. Разве можно осветить маленьким огнем бесконечную светлость белых ночей? В ту пору Вечный огонь заметен лишь вблизи.

Зато зимней холодной черной ночью огонь раздувается прилетающим с полуночных краев северным холодным ветерком-сиверко, который шквальной своей рванью расплескивает пламя в разные стороны. И отблески огня прыгают по площади, залетают в окна окружающих домов, улетают далеко в небо и красят в розовый цвет падающие на город снежинки.

Рядом с Вечным огнем стоит странный памятник. Вряд ли кто-нибудь из российских граждан видал что-нибудь подобное в других городах мира.

Это памятник гренландскому тюленю. Он словно бы только что вышел из Северной Двины, которая течет за его спиной, прополз, опираясь на ласты, через пляжный песок

и вскарабкался на высокий камень-постамент. Громадный, бронзовый, он поднял высоко голову и глядит с обелиска на город, на людей. Глядит внимательно, пронзительно и придиричливо. Он словно всматривается в лица горожан, в их сердца и задает очень важный для них и для себя вопрос: правильно ли он поступил, отдав за живущих в этом городе людей столь невозвратно много. Взгляд его и тревожный, и требовательный, ведь он отдал за этот город свою жизнь.

Ему хотелось бы, чтобы это было совершенно не напрасно, чтобы люди оценили его жертву и помнили о нем.

Многие, особенно приезжие, удивляются совсем ненужной, с их точки зрения, сентиментальности жителей Архангельска.

– При чем тут тюлень? Не лучше ли было поставить памятник собаке, или, например, кошке, или какому-нибудь там оленю? Они, эти животные, много полезнее для человека, чем это ластоногое существо.

Я сам слышал такие разговоры.

Давайте простим их. Люди просто не знают предмета, о котором судят. Они не ведают сути событий, происходивших, впрочем, совсем не в такие уж давние времена...

Девочка Аня Матвеева приехала в заполярный город Мурманск. Приехала она на поезде, конечно же, не одна – кто бы отпустил ее, подростка, в дальнюю дорогу без надежного сопровождения? Время военное, лихое, в разоренной беспощадной войной стране всякое случалось на дорогах. Бывало, что и взрослые люди пропадали ни за понюх табаку, попав ненароком в какую-нибудь случайную дорожную заваруху. А тут деревенская девчонка, нигде еще не бывавшая сиротинка-безотцовщина. Ее облапошить – любому жигану в радость, раз плюнуть.

Стоял месяц март 1945 года. Война шла уже к завершению. Смертельный ее вихрь, покружив над российским северо-западом, разметав деревни, спалив лес, унесся на запад и крушил теперь города Польши и Германии, коверкал людские судьбы и везде оставлял после себя только выжженную землю и незаживающие язвы неизбывного человеческого горя.

В почти совсем разрушенный и малолюдный Мурманск Аня приехала через притихшую и обугленную Карелию. Весь этот город, раскиданный по черным, опаленным пожарами сопкам, всего полгода назад сотрясаясь от взрывов снарядов и бомб и был теперь похож на погашенный гигантский костер с еще теплыми, раскиданными по земле головешка-

ми — недогоревшими остатками бывших человеческих жилищ. Ане показалось, что прямо через город проехал тяжелый, гигантский, размером до небесной выси, сокрушительный каток лютой войны. Проехал и раздавил все, что жило в нем раньше.

На улицах, посыпанных углями и пеплом, почти не было людей. Только кое-где сновали, подгоняемые резкими командами охранников, безликие худые фигуры, одетые в серые лохмотья, — силуэты немецких пленных. Разрушив город, они теперь его восстанавливали.

Но мурманский морской порт работал. Он снабжал возрождающийся город, корабли и воинские части всем необходимым, через него переправлялись в глубину России товары ленд-лиза, отсюда уходили на рыбный и зверобойный промысел суда морского пароходства.

Аня приехала с бригадой зверобоев. Ей самой, ее маме и их родне – дедушке Илье – стоило больших хлопот, чтобы она попала в эту бригаду. Входило в нее всего-то пятнадцать человек, а желающих участвовать в зверобойном отряде от деревни набралось человек двадцать пять. На колхозном собрании долго судили-рядили, привередливо обсуждали каждую кандидатуру. Это потому что зверобойи испокон веку хорошо зарабатывают, а всякая семья хочет, чтобы и в их дом пришла копеечка.

– Почему эт Аньку зуйком посылать? – допытывались односельчане. – Лучше парня какого. У ей силенок не хватит шкуры по льду таскать да туши. Парня надо!

Аня с мамой сидели среди односельчан, волновались. Мать рвалась выступить и сказать хоть пару слов, да понимала: бесполезное это занятие. И слушать не станут, знамо дело – мамка за дочку хлопочет. Хуже только будет. Но сказал веское слово дед Илья, уважаемый в деревне человек.

– Я вам так скажу, селяне, эта девка мужика хорошего стоит. Я в прошлом годе сиживал с ей на Никольской тоне, дак знаю. И на веслах гребет в погодушку, и кашеварит не хуже наших женочек. Труженица она, надо брать ее.

Сопротивлялись некоторые. Выступала Калинична, самая напористая деревенская крикунья:

– Ты, Илья, хоть и рыбак самолучший, а не прав ты! Родню свою тащишь. А другим ведь тоже надо рублик да другой заработать.

Дед Илья был родным дядей Аниной матери – братом ее отца, и крыть ему было нечем. Так бы, наверно, и заклевали девочку, и не поехала бы она на зверобойку, но слово взял председатель колхоза Майзеров. А его мнение, чего уж там, самое авторитетное:

– Тут надо по-хорошему, по человечески подойти. Все же знаем, что у Анны нашей Матвеевой год назад похоронка на отца пришла, и она, девочка эта, младших братишек своих вытягивает. Как взрослая женщина, работает в колхозе все лето, во все каникулы. Мать у нее с туберкулезом – это всем известно, а Анна всего-то в седьмом классе, вы же знаете. Надо бы помочь семье этой.

Председатель, сидя в президиуме, опустил голову, спрятав покрасневшие глаза, помолчал. Потом рывком голову поднял и уже с улыбкой сказал притихшему залу:

– А кроме того, надо бы поддержать будущего нашего зоотехника. Матвеева Анна летом будет поступать в сельхозтехникум по нашей путевке, а потом, значит, к нам и вернется, в наш колхоз.

Все дружно захлопали, и Аню включили в бригаду, которая отправлялась на промысел гренландского тюленя в район Зимнего берега Белого моря.

В мурманском порту бригада погрузилась на транспортное судно «Лена». Этот гигантский трофейный корабль на период тюленьей охоты специально переоборудовался для перевозки промысловиков, тюленьего сала, мяса и шкур. Один из трюмов предназначался для жизни в нем людей. Там стояли застеленные койки, тумбочки, столы. Питание в большой кают-компании организовывалось по очереди, по-бригадно.

Ане на судне понравилось все. После деревенской обыденности, где на море плавают всего лишь карбасы и все давно уже кажется однообразным, здесь была другая жизнь.

На палубе работали матросы. Они перематывали и перекладывали канаты, приводили в порядок корабельный таке-лаж, шаркали по доскам длинными березовыми голиками, смазывали мазутом черные стальные лебедочные тросы. Аня смотрела и думала: наверно, лебедкам предстоит большая работа, вот они о них и заботятся.

Она стояла на палубе, прислонившись к борту. Ей было холодно, потому что корабль шел по морю, а на море всегда ветра. Голова ее была укутана в старый шерстяной, но в общем теплый платок, тельце прикрывал поношенный мамин свитер и выдавшая виды мамина же фуфайка. Холодный восточный ветер продувал насквозь всю эту одежду, но Ане со-

всем не хотелось спускаться в трюм. Ей нравилось разглядывать летящих за кораблем чаек и далекий берег, тянущийся бесконечной неровной полосой за правым бортом. На нем, словно тупые зубья огромного чудища, высились полярные сопки, покрашенные в белый и коричневый цвет. Между темным берегом и серо-синим морем постоянной белой полосой пролегал прибрежный лед. От него в море отплывали отколовшиеся льдины. Словно белые пароходики, отправившиеся искать приходящую из-за синя моря красную весну. На некоторых таких пароходиках посиживали вальяжные пассажиры — тюлени. Они плыли на льдинах и грели свои толстые бока на солнышке. Они уплывали из надоевшего холода навстречу весне... Ане совсем не хотелось в трюм.

– Эй, пассажирка, ты чего тут зябнешь? – Аню кто-то окликнул. – Вот помрешь, тогда будешь знать.

На трапе, ведущем к капитанскому мостику, стоял и улыбался всей своей веснушчатой физиономией какой-то молоденький морячок. Фуражка у него красовалась на голове набекрень, а козырек закрывал правый глаз. Аня сразу решила, что так могут носить фуражки только хулиганы, хвастуны и вообще несерьезные, а может быть, и нахальные люди. И она ответила так, как и должна была ответить скромная деревенская девушка, отличница и комсомолка.

– А вам-то какое до меня дело? Хочу и стою.

Морячок, видно, не знал, что и сказать. Он маленько опешил: только выскочил из каюты и сразу замерз, а тут стоит какая-то ненормальная, видно, что продрогла вся, да еще и хамит.

– Да ты же в самом деле заболеешь. А у тебя работа впреди. Не на курорт ведь отправилась.

Аня понимала, что он прав, что давно пора идти в тепло, но не могла же она вот так сразу, по команде этого хвастунишки, взять и куда-то бежать. Она только фыркнула и отвернулась, стала смотреть на небо и на чаек.

– Ладно, – примирительно произнес морячок, – вижу я, что ты решила закончить свою молодую жизнь самоубий-

ством. Но я лично не считаю, что это правильно. Комсомольцы должны умирать ради чего-то, например, за Родину. А просто так нельзя. Комсомольский устав это не разрешает.

Аня еще раз фыркнула и спросила:

– Откуда вы знаете, что я комсомолка?

– Да по тебе сразу видно. Ты же ненормальная. Комсомольцы все такие.

– И вы тоже такой?

– И я такой же.

Он попереминался, поежился и вдруг заявил:

– Я знаешь чего решил?

Аня промолчала. Она не могла и не хотела долго разговаривать с посторонним незнакомым человеком, какая, в конце концов, разница, чего он там решил?

– Я буду стоять здесь, пока ты не уйдешь с палубы в тепло. Умру вместе с тобой.

И он втянул голову в куртку, как будто ему стало ужасно холодно и он в самом деле приготовился к самому худшему. В глазах его возникла решимость. Аня понимала: шуточная, конечно. Потом он сказал:

– Мне как-то неудобно стоять рядом с тобой одетым, когда ты мерзнешь. Хочешь я отдам тебе свою куртку, она теплая.

Быстрым и уверенным движением он сбросил с себя форменную куртку и набросил на Анины плечи.

– Так будет лучше, – сказал он.

Аня не знала, что и сказать, не знала, как реагировать. Все

это было впервые... Но парень явно не был бесстыжим нахалом.

– А вообще, – сказал он, – давай знакомиться. Меня зовут Михаил Плотников, я четвертый помощник капитана, штурман.

– Чего-то я сомневаюсь, – сказала Аня, – такие молодые штурманы разве бывают?

– Ну зачем мне врать? – стал серьезно возражать Михаил. – Семь классов – это четырнадцать лет, затем мореходка три года, штурманский факультет – это семнадцать. Я год как работаю четвертым штурманом, и мне сейчас восемнадцать. Все реально.

В Ане шевельнулось какое-то чувство, похожее на уважение к этому живому веснушчатому парню в лихой фуражке.

– А меня зовут Анна, Аня Матвеева. Я учусь в седьмом классе.

– Наверно, отличница?

– Есть такое дело, но я этим не горжусь, просто так получается.

– А как же, дорогая моя, тебя отпустили на зверобойку? Уроки же идут. Ты что, отпетая прогульщица?

– Ничего, я наверстаю. Меня директор отпустила. Просто у меня в семье очень трудно сейчас. Мама болеет, работать не может.

– А отец на фронте?

– Мой папа погиб год назад на Карельском фронте.

Плотников покачал головой, помолчал. Он спустился по ступенькам на палубу, решительно взял Аню за руку и повел по лестнице вверх. Она не понимала, куда и зачем ее ведут, сопротивлялась.

– Слушай, ты, комсомолка, голоднющая вся, замерзла совсем и еще упирается. Давай двигай! Мы тебя хоть отогреем немного.

Он привел ее в командную рубку, где находился капитан и его старший помощник. Там Аню накормили американской тушенкой и напоили чаем с печеньем. Тушенку Аня никогда в жизни не ела, и она показалась ей невероятно вкусной. Потом ей дали корабельный бинокль, и она долго разглядывала море, расстелившееся по бескрайним просторам вокруг корабля, небо и облака, летящих над водой чаек, белые льдины на темно-синей и свинцово-серой воде, далекий берег... Близость дальних предметов потрясла Аню, и она все глядела и глядела в прохладные окуляры. А четвертый штурман Плотников стоял рядом и подсказывал, как надо пользоваться оптическим прибором под названием бинокль.

А потом, когда прошли опасное ледяное поле, капитан отдал штурвал старшему помощнику и долго беседовал с Аней о деревне, о колхозе, о поморской жизни. У него самого осталась дочка в Архангельске, он ее редко видел, потому что все время был в море, и видно, что сильно по ней скучал.

Плотников явно не хотел уходить из рубки, и капитан его прогнал. У четвертого помощника было много обязанностей

в корабельном хозяйстве.

Аня, разморенная едой, теплом, добрым разговором с капитаном, уставшая от дороги и впечатлений сегодняшнего дня, уснула прямо в кресле. Капитан отнес ее на руках на топчан, стоящий в углу капитанской рубки, и накрыл своей шинелью.

Так она провела первую свою ночь на зверобойном промысле.

Ранним утром следующего дня транспортное судно «Лена», ведомое ледоколом «Капитан Мелехов», преодолело горло Белого моря и вошло в морскую акваторию. Лежал недолгий путь к лежкам гренландского тюленя, испокон веку расположенным в одних и тех же местах – напротив Зимнего берега Белого моря. Этот коренной полярный житель – гренландский тюлень – извечно живет в холодных водах северных морей и Ледовитого океана. Из-за лютых штормов, разбивающих любые льды, там невозможно производить потомство, выращивать детенышей – их убьет океан. Поэтому Белое море, более спокойное и мелкое, загороженное со всех сторон сушей, гренландские тюлени рассматривают в качестве родильного дома для своих детенышей и собираются здесь каждую весну, чтобы продолжить свой тюлений род.

Кроме того, в Белом море очень долго не тают ледяные поля. На их кромках, около самой воды, самкам удобно рожать тюленят и нянчить их первое время. Потом тюленята очень быстро растут и становятся самостоятельными. Рядом с самками всегда много взрослых самцов. Они почему-то всегда воют друг с другом и постоянно дерутся. Так создаются лежки – места скопления тюленей. Здесь всегда стоит рев дерущихся бойцов.

Судно «Лена» пришвартовалось прямо к ледяной кромке,

ко краю огромного ледяного поля, упирающегося дальним своим концом прямо в Зимний берег. Примерно в километре от места швартовки вдоль края льда чернела толстая полоса тюленьей лежки.

Все шесть бригад зверобоев, представителей колхозов всех беломорских берегов, каждая по двенадцать – пятнадцать человек, сошли на лед.

Бригадир коллектива от колхоза «Промысловик» Петр Зосимов по-военному построил своих колхозников, разделил на группы и всех проинструктировал. Сержант в отставке, на войне он был тяжело ранен осколками вражеской мины в лицо и в легкое и поэтому говорил плохо, с трудом выговаривал слова, задыхался. К такой его манере все привыкли еще в деревне, и поэтому его речь была для всех понятна.

– Задачи у нас простые, – сказал он, – добыть и сдать на транспортное судно как можно больше морского зверя. От этого зависит общий заработок. Устраиваем соревнование: стрелок, занявший первое место, сверх зарплаты получает премию, равную заработку. Кто окажется на последнем месте, тот в следующий сезон на зверобойку не поедет. Всем понятно?

– Поня-ятно, – заголосили зверобои.

– Имейте также в виду, что среди колхозных бригад организовано социалистическое соревнование. Лучшие бригады будут отмечены грамотами профсоюза области. Это большая честь для нашего колхоза и для нас с вами. Надо бы побо-

роться, товарищи, за эту высокую награду. Согласны, товарищи?

– Со-о-гласны! – прогудела бригада, и все пошли по своим местам. Речь бригадира, короткая и понятная, всем понравилась. Работа началась.

Стрелки от колхозных бригад заняли выделенные им сектора и пошли вперед к тюленьей лежке. Все они были вооружены трехлинейными винтовками системы Мосина калибра 7,62 мм и тяжелыми дубинами. Приблизившись к лежищу метров на двести, они сбавили ход, стали ступать медленно, а затем пошли вовсе внаклонку, крадучись. Шли так, пока наблюдавшие за ними самцы не стали один за другим скользить по снегу и нырять со льда в море. До стаи оставалось пятьдесят-шестьдесят метров. Стрелки все как один попадали на лед, подползли к ближайшим ледяным ропакам и, положив на ледяные выступы свои винтовки, открыли по тюленям бешеную стрельбу.

Стреляли не по головам, а по силуэтам. Так надежнее: легче прицеливаться, а разрывная пуля, выпущенная из мосинской трехлинейки, обладает страшной начальной скоростью и, попав даже просто в корпус, не оставляет никакого живому существу шансов на выживание.

Отстреляв по двадцать патронов (по четыре обоймы), стрелки поднялись, подхватили винтовки и дубины и побежали к тюленьему стаду. Основная часть близлежащих тюленей была неподвижна. Звери лежали, уткнув морды в окровавленный снег, некоторые валялись на боку, безвольно опустив на живот лапы и откинув назад головы.

Часть билась в предсмертных судорогах, и стрелки к ним не подходили: зачем тратить патроны и силы, если зверь сам скоро подохнет.

Но многие тюлени с окровавленными боками, раненые, но еще живые, кидались с разъяренными пастями, полными острых клыкастых зубов, на людей, и стрелки или убивали их в упор из винтовок, или глушили дубинами.

Забой гренландских тюленей – дело очень кровавое. Стрелки шаг за шагом продвигались вперед среди мертвых тюленых туш, не оставляя за собой ничего живого. Под ноги им часто попадались тюленьи детеныши – бельки – доверчивые, любознательные существа, одетые в белоснежные шкурки, с черными бусинками глаз. Но в этой зверобойной кампании плана по их добыче и сдаче не было, и стрелки не обращали на них внимания, а уж совсем докучливых просто отпинавали в стороны.

Но лежка гренландского тюленя и широкая, и длинная. Она протянулась вдоль морской кромки на километры. И вот группа других стрелков, отработавших свою территорию, обходит ее справа и идет вперед к еще не отстрелянному зверю. И там начинается новая бойня.

И повсюду посреди ослепительно белого снега в красных от крови полыньях лежат туши убитых и раненых тюленей, и растекаются от них кровавые ручейки, раскрашивая все новую снежную белизну в ярко-алый цвет.

И повсюду ходят люди с дубинами и винтовками, и над

всем ледяным пространством далеко вширь и высоко в небо разносится предсмертный рев убиваемых людьми животных.

Сразу за стрелками идут и принимаются за свою работу обелевшики, свежеватели тюленьих туш. Каждый подходит к убитому зверю и своим острым ножичком разделяет его на две части – на шкуру с приросшим к ней толстым слоем жира и на мясо. И уж потом в работу включаются волочилыщики. Их задача – подтащить мясо и шкуры к месту погрузки на транспортное судно.

Те и другие ходят по красной жиже – по насыщенному кровью снегу.

Аня еще в деревне была назначена волочильщицей. Ей, как и другим, выдали стальные крючья. Здесь в обиходе их называли гаками. Вообще Аня скоро убедилась, что в зверобойном деле много специальных терминов, странных, словно иноземных слов. Здесь тюленьи лапы называют ката-рами, ледяные торосы именуют ропаками, а стальной трос – это финш. Здесь тюленью тушу называют рауком, ошкури-вание тюленя – обелевкой, а роды самки тюленя – это вам совсем и не роды, а говорят: утельга оценилась. Аня недо-умевала: тюленията – это же не щенки. Почему тогда «оце-нилась»?

Она уже стояла на льду вместе с другими волочильщиками, крутила в руках свой тяжелый гак, примерялась, как станет подцеплять им шкуры убитых тюленей, как будет тащить их по льду. А как же, везде требуется сноровка.

Ее окликнула ледокольная повариха Варвара, с которой они познакомились еще в Мурманске. Оказалось, что та дав-но работает на судне, знает многих поморских рыбаков и зве-робоев. Знала она и отца Анны: тот не однажды бывал на тюленьем промысле до войны. Искренне опечалилась, когда узнала, что хороший человек погиб.

– Анечка, погоди маленько, я тебе сказать хочу. – И побе-жала по трапу к ней.

Подошла без накидки, без телогрейки, в одной кофтенке, мороз ей не мороз. Голова в тоненьком платочке. Отвела за локоток в сторонку.

– Предупредить хочу тебя, девка. Сейчас ты много кроушки увидишь. Сможешь, нет, выдержать такое? Дело-то страшенно. Бывает, что которы и не выдерживают, назад убегают. Девки-то молоды особенно. Сидят потом в уголке, глаза прячут.

И она, наклонившись вперед, выгнула голову, вытаращила глаза, рассматривая Анино лицо.

Аня съежилась, она уже слыхала и в деревне, и на судне о том, что картина будет тяжелая. Но куда ей было деваться? Какими глазами придется ей смотреть на голодную семью, если она не привезет хоть немного денег? Она приехала на заработки, а деньги – это она хорошо знала с самого измальства – никто в карманы просто так не накладывает. Их все тяжким трудом зарабатывают.

– Я постараюсь, – сказала она просто и посмотрела поварихе в глаза, – мне надо денег домой привезти, у меня семья дома голодает. Куда мне теперь бежать отсюда?

Она пошмыгала носом и как будто даже приободрилась.

– Я, тетя Варя, видала, как овцу соседи резали. Не умерла же со страху, и сейчас, наверно, тоже не помру.

– Сравнила тоже, овцу-у, – едко передразнила ее повариха. – Тут не одна овца, там страхи Божии что учиняется, по кровушке вышагивать будешь, дева. Видала я ето дело коего

дни... Форменны страхи Божии.

Она совсем скукожилась от холода, тяжело подпрыгнула пару раз на скрипучем снегу, заторопилась обратно в корабельное тепло.

– Ладно, девка, прозябла я чево-то, пойду-ко я.

Варвара резко развернулась, шагнула к ледокольному трапу, остановилась, повернулась опять к ней со скрещенными на груди руками, озябшая, со сморщенным лицом.

– Жалко мне тебя, Анька. Вот ведь как тебе приходится, сиротинке. Держись уж как-нибудь Христа ради.

Скрюченная, вдруг сгорбившаяся то ли от холода, то ли от жалости, она шла по трапу вверх. Что-то вытирала ладонью на своем лице.

Увиденное потрясло ее. И она подумала: это белое поле в огромных, кривых пятнах красного цвета, лужи крови с лежащими посреди них тушами тюленей, кучи из мяса, тюленых внутренностей и лежащие повсеместно желтые пласты снятых шкур, еще дымящихся, будут приходить к ней во сне теперь постоянно, всю жизнь. Хмурые, деловые лица мужиков, несущих в руках окровавленные ножики, переходящих от туши к туше...

Аня отвернулась от этой чудовищной картины, подошла к ближайшему ледяному ропаку и тяжело на него села, наклонилась. Ее рвало на лед, она никак не могла откашляться.

Подошел бригадир Зосимов, сел рядом, обнял за плечи.

– Некогда нам с тобой рассиживать, Анна, надо план выполнять. Нельзя колхоз подводить.

И заторопился куда-то, ушел.

Анна Матвеева встала и пошла работать. У нее не было возможности опустить руки и уйти куда-нибудь от этого страшного места. Дома ее ждала семья, находящаяся в беде.

Любая поморская девочка, привыкшая к тяготам быта, к суровым условиям жизни на Севере, быстро ко всему принаравливается. На Аню обрушилось так много работы, что ей некогда было лить девичьи слезки. Поначалу она боялась оглядываться по сторонам, страшилась наступить ногой на что-нибудь мягкое и скользкое, но жизнь заставила быстро привыкнуть к новой обстановке. Надо было выполнять план!

Работа у Ани Матвеевой была не сложная, но тяжелая. Главная хитрость заключалась в том, чтобы среди ропакров и снующих туда-сюда людей выследить, не потерять обелевщика: рядом с ним шкуры и туши, которые надо было подтащить к общим кучам всей бригады, к кромке льда, где стояло судно. Народу много, а искать своего постоянно перемещающегося обелевщика некогда: надо было поторапливаться. Выход нашел бригадир Зосимов. Раздобыли где-то красную материю и нитками закрепили красные полосы на шапках обелевщиков своей бригады. Теперь их было видно издалека, теперь зосимовская бригада напоминала боевой партизанский отряд.

Аня принаровилась работать с обелевщиком Леонидом Петровым. Молодой этот ухватистый парень был чем-то вроде автомата. Он со своим шкерочным ножичком подбегал к только что подстреленному тюленю и полосовал его за

несколько минут. И как будто не мерзли у него руки и не брала усталость. А лицо Леонида горело под стать красной повязке на шапке – такое же алое. От мороза, от азарта работы и просто от здоровья.

– Аню-ютка! – кричал он всякий раз радостно, когда очередная ноша была готова, и махал обеими руками, и ножик в его правой руке сверкал на солнышке так же радостно.

Видно было, что Аня Матвеева ему нравилась, и она это понимала. Просто понимала, и все. В своей непростой жизни ей было некогда думать о чем-то постороннем, кроме учебы, младших братьев и матери, которые нуждались в ее помощи. Кроме того, Леонид был уже женат. Совсем недавно он сыграл свадьбу с хорошей деревенской девушкой Зиной Худяковой. Просто ветер у него в голове, у Леонида, не нагулялся он, вот и все.

Но сейчас была зверобойка, и обелевшик Петров радовался встречам с Аней Матвеевой и учил ее правильно таскать по льду рауков – тюленьи туши и тюленьи шкуры.

– Анечка, крюк надо цеплять сюда. Так волосы на шкуре будут лучше скользить по льду, и тебе будет легче ее волочь. Понятно?

– Понятно, понятно, – улыбалась Аня в ответ.

Иногда он распрямлял молодое свое гибкое тело, весело глядел ей в лицо и, видимо, понарошку сокрушенно выговаривал:

– Вот дурак я, дурак! Рано женился, дурак. Надо было мне

тебя маленько подождать.

И неясно было, шутит Леонид или нет. Аня смеялась в ответ и старалась поскорее уйти подальше от этих шуточек.

На другой же день зверобойки на свидание с Аней с «Лены» удрал четвертый помощник Плотников. Он обрадовался встрече с ней, подарил свои теплые рукавицы, обшитые с внешней стороны брезентом.

– Это тебе от меня на долгую память. Носи на здоровье, – сказал, – чтобы больше не замерзала. – Лицо его в крупных веснушках было слегка обожжено весенним солнышком и крепко разругивалось.

Аня ему тоже почему-то обрадовалась. И сама не понимала почему. Она до сих пор старалась не обращать внимания на мальчишек и взрослых ребят тоже. Все они казались ей придурками, с которыми и разговаривать-то не о чем. А тут обрадовалась.

– Можно я тебе помогу маленько? – спросил он, сверкая восторженными глазами и поправляя рукава какой-то задрпанной куртки явно не со своего плеча. Аня хотела было поинтересоваться, откуда такая странная одежда, но Михаил вопрос опередил:

– Это я для маскировки надел, чтобы меня капитан не нашел.

– Можно, конечно, можно, – отвечала Аня, пряча глаза и слегка отворачиваясь. Она хотела скрыть от Миши Плотникова свою радостную улыбку и свое смущение. Такие новые

для нее...

Потом они вдвоем таскали по льду шкуры, держась за один крюк. И Миша Плотников о чем-то веселом болтал... А Аня ему поддакивала. Уже открыто улыбалась, а иногда даже смеялась. Им хорошо работалось вдвоем. Аня в тот день выполнила полторы рабочие нормы.

Капитан судна тем временем потерял своего четвертого помощника, но быстро нашел, догадавшись, где он может быть. Капитан взял медный свой мегафон и гаркнул в него в адрес Плотникова такие нужные слова, что того как ветром сдуло из зосимовской бригады.

Все же, убегая, он попросил Аню выйти вечером на палубу.

И она вышла. И они опять пили с ним чай в кают-компании. И опять долго проболтали.

А когда прощались и стояли на палубе, Аня вдыхала всей грудью морозный морской воздух, вглядывалась в темное пространство ледяного поля и невольно думала о том, что в этой холодной темени на снегу ползают беззащитные, одинокие тюлени детеныши – бельки, плачут, как маленькие щенята, и разыскивают своих матерей. И не могут найти, потому что их отняли у них люди.

Такие мысли будоражили теперь и просто терзали ее сердце, и она, как и эти маленькие тюленята, была беззащитна перед своими думами, ведь все это было правдой. Но ей некуда было бежать от этого ледяного поля со множеством убитых

тюленей, и от своих мыслей тоже.

Однако человек – существо безграничное в своем мировосприятии и в своих чувствах. Теперь, когда Аня видела четвертого помощника Плотникова, когда разговаривала с ним, в душе ее, в самом дальнем ее уголочке вдруг оживал и начинал шевелиться теплый комочек, который стал ее постоянно согревать. И она стала думать о нем и заботиться, чтобы он не остыл, а чтобы жил в ней, в Ане, всегда жил.

Трагедия самки гренландского тюленя – утельги заключается в том, что она ни в коем случае не может бросить своего детеныша. Даже когда ей самой грозит смертельная опасность.

Если на ее маленькое дите посягает посторонний тюлень – неважно, самка это или самец, – она с лютым ревом бросается на обидчика и терзает его острыми зубами, пока тот не сдастся, не отступит.

Когда к детенышу или к ней самой подходит человек, утельга до последней минуты будет защищать себя и свое чадо, но не отступит, не убежит к спасительной морской кромке. Самка гренландского тюленя – раба и жертва материнского инстинкта, который люди называют материнской любовью.

В этом и заключается промысел морского зверя на тюленьих лежках. В то время как самец при первых выстрелах промысловиков, при первой же опасности бросает своих самок и детенышей и убегает со льда в море, утельга не может покинуть своего ребенка. Она остается с ним рядом до конца, и поэтому она – легкая добыча.

Вот она, простая и неминуемая правда – среди убитых на зверобойных промыслах гренландских тюленей практически нет самцов. Это все утельги.

Мясо и сало их спасли в военное время от голодной смерти города Архангельск, Северодвинск и во многом блокадный Ленинград. Тот памятник в центре Архангельска стоит не зря.

Это памятник Утельге.

Это памятник всем тюленьим матерям, погибшим за то, чтобы жили люди. Их были многие сотни тысяч.

Я прошу горожан приходить к памятнику и возлагать к нему цветы.

Утельга это заслужила. Она совершила подвиг материнской верности.

Работа на льду продолжалась четверо суток. Это был срок фрахтовки поморскими колхозами транспортного судна «Лена» и ледокола «Капитан Мелехов». На больший срок эти суда не могли оставаться в распоряжении колхозов. У них было еще много других задач в акватории северных морей.

Вот и промелькнул последний рабочий день. Наступил последний вечер зверобойного промысла. Началась погрузка использовавшегося оборудования, саней, винтовок, топоров, веревок... Каждый проверял свое хозяйство, все ли поднято на судно, не забыто ли чего. Стояла суета, которая вечно стоит перед отправкой в дорогу.

Аня проверила все, и свое, и чужое, она стояла на льду возле трапа, глядела на снующих туда-сюда людей, на огромный корабль. Была тяжелая работа, но уезжать не хотелось. Здесь останутся ее переживания, ее успехи в работе, первое в жизни зарождающееся серьезное чувство...

У каждого члена бригады было плановое задание. Свое она выполнила и перевыполнила. Она знала, что не подвела никого: ни себя, ни бригаду, ни колхоз. Этой осенью ей надо будет уезжать в город на учебу, и теперь Аня знала, что заработала достаточно денег, чтобы купить для себя обновы, что будет что надеть и она в новой одежде не будет выгля-

деть хуже других, и что теперь можно будет приобрести новые обувки для братишек, а то ходят в таком рванье... Не зря она съездила на эту зверобойку.

Уже под самый конец сборов бригадир Зосимов мимоходом сказал ей:

– Сбегай-ко, Аня, в бригадный урез. Чего-то у меня душа болит, все ли мы там собрали?

В бригадный урез – значит в дальний конец выделенного бригаде участка.

Сказал, а сам аж трясется весь, зубы у него колотятся. Стукоток стоит такой, что и Ане слышно. Простыл он вчера крепко: пропотел в работе, а потом продрог, так уж получилось, и теперь его всего корежит. Видно, что надо бы ему в тепле побыть да отогреться, а как тут уйдешь со льда, когда сборы и за всем нужен пригляд.

И Аня побежала.

А Зосимова окликнул с борта «Лены» боцман Новоселов – неунывающий, веселый, хлопотливый человек, которому до всего есть дело. Он Петра заметил в работе и за-уважал.

– Петруша, а чего ты не в себе как будто? Белый весь, и качает тебя. Не прихворнул случаем, Петруша?

Зосимов только махнул рукой и признался:

– Худо мне в самом деле. Простыл вчерась. Скорей бы дело закончить, на ногах еле стою...

– Ты, едри это, чево? Ты геройство свое брось показывать,

не удивишь им никого. Один недавно так же выказывал тут, помер на обратном пути в дороге, гортань у него замерзла вся, не откачали. Так же хочешь?

Боцман, держась за круглую окантовку борта, потоптался, повертел головой туда-сюда, видно, размышлял, отважиться ли ему на решительный шаг, потом все же отважился, дернул головой и приказал:

– Давай-ко ты, Петя, шагай сюда ко мне. Я тебя лечить сейчас буду, быстро вылечу.

– Да у меня пока тут заботушка есть, всех обрядить бы надо.

– Уже обряжены все. Сам не видишь? Отходим через час. Сборов-то и не осталось уж. Сам на ногах не стоит, а тоже ему надо думать за всех, обряжальщик, едритья.

И он проводил Зосимова в свою каюту. Там заставил выпить стакан едва разбавленного спирта. Считай, без закуски, только кусочек хлеба и дал.

Уставшего, израненного на войне, задерганного в хлопотах и полуголодного, ослабленного сильной простудой Петра Зосимова от такой дозы крепко развезло. Так сильно, что он уснул мертвецким сном прямо в каюте боцмана.

Через пару часов Новоселов его кое-как разбудил и помог добраться до своей койки в трюме. Боцману ведь тоже надо было отдохнуть в своей каюте после трудового дня.

А Зосимов упал на свою койку и ушел в болезненное забытие.

Разве это расстояние – километр туда да километр обратно? Снега на льду уже почти нет, его выело пусть и не жаркое совсем, но довольно въедливое мартовское солнце. Под ногами плотный и гулкий лед. Туда-сюда можно обернуться за двадцать минут.

Прибежав к дальней границе участка, Аня обомлела: вдоль всей трехсотметровой кромки моря повсеместно лежали тюленьи шкуры. Туш не было, а вот шкуры лежали. Вероятно, волочилыщики, справившись с тушами, просто отвлеклись на другие дела да позабыли, что недокончили свою работу...

Сейчас некогда было рядить, кто прав, кто виноват. Надо было срочно сволочить эти шкуры в одно место, в кучу, и начать переправлять их на судно. А там подключится вся бригада. Нельзя же бросить такое богатство.

Так она решила.

И Аня взялась за дело. В первую очередь пошли в ход шкуры, лежащие подальше. И надо было делать все быстро, ведь она может задержать отправку судна и подвести не только свою бригаду, но и все колхозы, и само судно, и капитана, такого доброго к ней человека.

Но перетащив бегом по льду первые пять шкур, она поняла, что уже сильно устала. Ладно, еще надо бы пять, и она от-

дохнет. Вот наконец она присела, чтобы хоть немного отдохнуть. Но почти сразу вскочила: сколько можно отдыхать, ведь ее ждут люди, она всех задерживает! А у корабля все расписано по часам, его нельзя подводить!

И Аня опять бросилась таскать эти тяжеленные тюленьи шубы с толстым слоем сала каждая. Она волочила, волочила по льду стокилограммовые тяжести, эта деревенская девочка, пока не устала совершенно, пока совсем не выбилась из сил.

И она сказала себе: «Ладно, я чуточку отдохну, совсем чуточку, и пойду звать людей. Только чуточку...»

Силы совсем ее оставили, но ведь не на лед же ложиться. Кое-как, с трудом унимая сильную дрожь в локтях, она подцепила крюком одну из шкур за край, протянула ее так, чтобы шкура лежала мехом кверху, и упала на нее. И потеряла сознание.

Она очень устала, ученица седьмого класса Анна Матвеева.

Две недели назад, в начале марта, самка гренландского тюленя Утельга родила двоих малышей. Она долго, очень долго – целых одиннадцать с половиной месяцев – готовилась к этому важному для любой матери событию.

Жившие в ней зародыши все это время купались вместе с ней в водах Карского, Баренцева и Печорского морей, гонялись за косяками сайки, трески, мойвы и сельди около побережий Шпицбергена, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Утельга набирала жир, который потребуется ей для рождения и вскармливания детей, для последующего сразу за этим нового принятия в себя зародыша, для начала очередного этапа материнства длиной в одиннадцать с половиной месяцев.

В начале марта Утельга вместе со своим самцом выбралась из воды на льдину, где уже собиралась колония из множества таких же тюленей. На этом месте вековечно, из года в год, из столетия в столетие живет, рычит и пищит гигантский родильный дом, продолжающий существование так называемого беломорского стада гренландского тюленя численностью в сотни тысяч голов.

Над родильным домом с февраля по апрель вековечно гремит многоголосый гомон живущего здесь зверя: рев самцов, дерущихся друг с другом, грозный рык самок, защи-

щающих своих детенышей, жалостливое повизгивание тюленят, схожее с плачем щенят, потерявших свою мамку.

Утельга выбрала место для своей лежки в заветерье от северного ветра – под наклоненной глыбой широкого ропака. Она несколько раз переваливалась с боку на бок, приминала снег, чтобы будущий ее ребенок не запутался в рыхлой замяти, не задохнулся.

Ей не пришлось долго ждать своих родов.

Спустя пару часов она уже облизывала мордочки двух сыночков. Их запах совпадал с ее собственным запахом, и она узнала бы своих детей среди миллионов других щенков.

Самка гренландского тюленя редко рождает двоих детенышей. Как правило, рядом с ней только один. Но сейчас их было двое. И как только утельга сорвала с них прозрачные родовые пленочки, сыночки ее, одетые в розовые шубки, поползли к ней под брюхо искать молочные соски. Их мамка повернулась на бок, откинула с помехи свои лапы, и щенятки быстро нашли то, что требовалось. Чмокая и урча, они бойко и деловито принялись сосать жирное тюленьё молоко. А Утельга лежала на боку и жмурила глаза. Самец ее лежал поодаль, ревниво поглядывал на свою самку и тревожно порывивал во все стороны. Наверно, он остерегался, чтобы другие самцы не напали и не разрушили его семью.

Детеныши росли быстро. Утроенные жизненные силы им дает необычайно жирное и питательное тюленьё молоко. Уже вскоре с трудом поначалу ползающие «зеленцы» пре-

вратились в крепенькие белоснежные тугие бочоночки – бельков, которые начали заводить друг с другом и со своей мамой Утельгой боевые игры.

Дети были совершенно белоснежны, как и подобает всем белькам, но у одного из них над черным глазом выделялось серое пятнышко. Как будто на лбу у сыночка темнел еще один глаз. Утельга своим языком пыталась слизнуть эту темную точку. Но точка оставалась там, где и была.

Скоро уже, совсем скоро Утельга, повинувшись древнему инстинкту, должна была покинуть их, своих детей, и начать новую игру со своим самцом. Властная Природа требовала, чтобы она вновь зачала в себе новую жизнь и снова стала матерью.

На льдине рядом с кромкой бесконечно синего моря лежала со своими детенышами Утельга – самка гренландского тюленя. Всходило над ней солнышко, разгорался и угасал закат, и висел над ее головой огромный черный небесный купол, утыканный хрусталиками ярких звездочек.

Трескались где-то льдины, и грохот этот пролетал над ее головой, над ее бельками, уносился к горизонту и исчезал в морской дали.

Иногда матери надоедало лежать долго без движения, и она отползала от своих щенков, двигалась к находящейся рядом морской кромке. Там она наклоняла голову в воду и соскальзывала со льда в привычную для себя глубину. В пого-

не за быстрой сайкой она выгибала уставшее лежать в неподвижности тело, резвилась в родной стихии. Но это не могло продолжаться слишком долго, ведь она была матерью, через короткое время Природа звала ее обратно, на лед, где Утельгу ждали ее дети.

Иногда она приносила своим белькам из морских глубин каких-нибудь рыбок и стелила их перед их мордочками. Смотрите, детки мои, каких вкусных селедочек принесла вам ваша мама из морской глубины, – как бы говорила она. Но детки на ту пору еще не кушали рыбу. Они предпочитали всем деликатесам мамино молочко. С принесенной им рыбой они предпочитали играть и вырывать рыбок друг у друга из пасти.

Наигравшись, детеныши опять сосали материнское молоко и снова лежали с двух сторон у своей матери, прижавшись к теплым ее бокам, слабо при этом похоркивая и посвистывая во сне, то и дело ворочаясь и тихо урча что-то свое, детское.

Утельга лежала на льдине рядом со своими детьми. Она выполняла извечный свой материнский долг.

Однажды утром дремлющую с детенышами Утельгу и лежащего рядом Лысуна – ее самца – разбудили звуки выстрелов и гортанно-булькающие, всегда страшные для тюленей голоса людей – их извечных врагов. Ее самец рявкнул и, подпрыгивая на сильных лапах, умчался к морской кромке. Раздался громкий всплеск. Это Лысун шлепнулся в воду и исчез в глубине.

Утельга не сдвинулась со своей лежки. Ее приковал ко льду материнский инстинкт, не позволяющий бросать детеныша в момент опасности. Пока ее ребенок-белек не наберет достаточный вес, чтобы начать самостоятельную жизнь и самому добывать себе корм, она будет находиться рядом с ним, какая бы угроза над ней ни повисла, пусть даже и угроза гибели.

У Утельги было два детеныша, и, когда пришла к ней смертельная опасность, она их не бросила.

Грохот выстрелов был все ближе и ближе. И когда человеческие шаги зазвучали совсем близко, Утельга высоко подняла голову. К ней шел коренастый человек с равнодушным красным лицом. Он нес в руках какие-то длинные предметы. Утельга поняла, что ее детям грозит смертельная опасность. Она приподнялась на лапах и ринулась на врага с оскаленной пастью, со всей материнской решимостью защитить сво-

их детей.

Коренастый человек равнодушно выругался и, почти не целясь, привычно, из-под локтя выстрелил Утельге в голову.

Человек выполнял обычную свою, рутинную работу.

За ним шел обелевший со своим острым, как бритва, ножичком. Для него это была тоже самая обычная тюленья туша, которую надо было разделить на три положенные части. Он уже сбился со счета, которая на сегодняшний день. Кажется, где-то из третьего десятка.

Два маленьких белька лежали поодаль и смотрели на людей черными маслинками широко открытых глаз. Все происходящее было для них добрым и счастливым, как их короткое детство, совсем не ведающее страха.

Стояла северная мартовская ночь, морозная и звездная. Ледокол «Капитан Мелехов» шел полным ходом курсом на Архангельск. Толстым и упрямым своим корпусом он проламывал смерзшуюся за холодную ночь шугу, долбил и отгонял прочь с дороги плавающие тут и там льдины. Ледокол расчищал путь транспортному судну «Лена», следующему в кильватере. Транспорт – крупнотоннажный трофейный корабль – был огромен, тяжел был и груз, лежащий в трюмах, но мощные немецкие дизеля давали хороший ход. И все шло по графику. В девять часов утра следующего дня «Лена» должна доставить свой груз в порт «Экономия» Архангельского пароходства.

Пассажиры «Лены» – зверобои из поморских деревень – долго не спали. Все обсуждали удачный для всех деревень промысел. Все выполнили плановые задания, и все были довольны, что не подвели свои деревни, что будет прибыль в домах.

Русский мужичок не может без заначки. И вот стали из пестерьков, из мешочков доставаться сокровенные припасы: у кого бражка, у кого невеста что намешанное, но тоже с градусами, а у кого-то припрятана для такого случая золотая бутылочка драгоценной водочки.

– И-и, эх-х! – зазвенели песенки да прибауточки. Народ

пережил тяжеленные военные времена. Многие из этих мужичков – раненые да покалеченные, списанные с войны по причине военной негодности, а в основном пожилые все люди, для которых прошел срок воевать. Но сейчас, на этом судне, их всех объединила удача хорошей добычи. И нет повода, чтобы не гульнуть, не пошуметь на радостях.

А женщины спали. Скажите, кто может быть практичнее русской женщины? Ни в жизни не найдете! И если выпадает хоть одна минутка, свободная от детей, мужа или работы, русская женщина вмиг засыпает. И это справедливо, потому что женщина наша непомерно много работает.

Аня открыла глаза. Ее бил тяжелейший озноб. Все тело пронизывала ледяная дрожь. Мертвящий холод проник в каждую клеточку тела, лежащего на льду посреди морозной ночи, и тело перестало слушаться ее. Тряслись ноги и руки, громкой барабанной дробью стучали зубы. Замерз язык и охлаждал рот неподвижной льдинкой.

«Надо двигаться! Я ведь могу умереть! – Эта мысль пронзила Аню. – Надо попытаться подняться. Надо встать, встать!»

И она начала подниматься. Но не хватило сил оторвать плечи от лежащей на льду шкуры. Плечи и руки будто были прибиты гвоздями к ледяной корке.

Ей стало страшно.

Потом она постаралась взять себя в руки. Поморская девочка, она слышала сотни историй о том, как люди погибали из-за того, что не смогли совладать со своим страхом в трудных ситуациях, будь то на море, на льду или в лесу. «За свою жизнь надо бороться до конца», – так учил ее отец. Так же говаривали опытные люди, бывавшие в разных переделках.

– Со страхом в море не суйся, – судят поморы, – он тебя в глубь и утянет!

Аня полежала, собралась с силами и стала раскачивать, приподнимать плечи ото льда попеременно. Тело стало со-

всем чужим, и каждое движение давалось ей с великим напряжением всех сил. Затем рывком перевалилась набок и поджала, подтянула к животу колени. Из этого положения ей легче было встать на четвереньки, а потом попытаться поднять и все тело.

На четвереньки она встала, покачала перед собой трясущиеся руки и поняла, что совсем не чувствует ни ладоней, ни пальцев. Их будто не было совсем. Аня стукнула кистями рук друг о друга, но ничего не почувствовала. Руки стали совсем чужими, будто деревянными.

Но ей надо, во что бы то ни стало надо встать на ноги и начать шагать, чтобы согреться, вобрать в себя тепло и оживить продрогшее тело.

Предприняв невероятные усилия, Анна все же поднялась на ноги, медленно-медленно распрямила тело. Это трудно ей далось, потому что трясущиеся плечи необоримая сила водила из стороны в сторону.

Она попыталась сделать шаг.

Аня сделала его. Но шагнула она с превеликим трудом, потому что ноги ее совсем не слушались. На них невозможно было удержать равновесие. Качаясь из стороны в сторону, она сделала два шага по окровавленному ледяному полю, но не устояла и упала набок, сильно ударившись плечом и головой о лед. Впала на секунду в забытие, немного полежала, но скоро взяла себя в руки. Она осознала, что здесь, на голом льду, оставаться надолго нельзя, что тут она замерзнет

очень быстро. Тогда, собрав остаток сил, Аня поднялась на колени и, опираясь на трясущиеся, непослушные руки, кое-как доползла до спасительной шкуры. Встала на коленях на ее край, потом повалилась набок и, наконец, тяжело перевернулась на спину. Аня понимала: так она сохранит в своем теле хоть на чуточку, но все же больше тепла.

И еще она поняла, что этой своей попыткой встать на ноги она потеряла последние силы.

Тело ее не двигалось, только судорожно тряслось от мертвящего холода. Одежда, мокрая от изнурительной работы, лежала на ней мерзлой коркой и совсем не согревала. Ноги были обуты в бахилки, совсем новые, старательно смастеренные бабушкой Ильей из хорошей кожи. Но и они за прошедший в беготне по сырому льду день тоже насквозь промокли и промерзли и сейчас стягивали ноги, как тяжеленные колоды.

Она поняла, что нигде рядом нет людей, что она одна.

Никто за ней не пришел, даже бригадир, который ее сюда направил. Наверно, что-то случилось... Не могли же ее бросить односельчане, хорошие все люди. Что-то случилось...

Кругом только ночь, мертвящие сполохи холодного северного сияния и еще мороз, сковавший тело. И одиночество посреди жуткого мерцающего света...

Ее клонило ко сну. Аня подумала: «Я, наверно, сейчас умру». Живущая на севере, она уже много раз слышала, что людей, умирающих от холода, тянет ко сну.

Она лежала лицом вверх с трясущимся от страшного холода телом и глядела на звезды. Раньше она любила их разглядывать. Она знала, где Малая и Большая Медведицы, где Полярная звезда.

Сейчас Полярная звезда висела прямо над ней и мерцала ярким, равнодушным, мертвящим светом.

Аня Матвеева в самом деле умирала, и маленькому беззащитному ее сердцу оставалось стучать совсем недолго.

Четвертый помощник капитана Михаил Плотников спустился в пассажирский трюм и с растерянными глазами начал шарить между коек. Он не дождался на палубе человека, с которым уже привык проводить вечера, – Аню Матвееву, потерял терпение, заволновался и начал ее искать. Он не мог поверить, что девушка, которая так ему понравилась и которой он вроде бы тоже стал безразличен, вдруг просто так, без объяснения причин, не захотела с ним знаться. Ведь он не дал для такого отношения никакого повода.

Он уже знал, где расположена койка Ани, но, к своему изумлению, самой ее там не обнаружил.

В голову, само собой, пролезли всякие глупые мысли: где она и с кем? Но Плотников их решительно отвергнул.

И стал орать:

– Эй, вы что тут, обалдели все! Где Анна Матвеева из колхоза «Промысловик?»

Люди стали просыпаться и недовольничать. А обелевщица Парасья Житникова, крепкая и грузноватая женщина, с которой Михаил уже успел познакомиться, села на койку в длинной толстой сорочке, потрясла головой, чтобы стряхнуть сон, и пробурчала:

– Капитан, ты че тут орешь? Людей будишь.

– Публика, вы чего, охренели? Где Анна Матвеева из ва-

шей бригады? – с искаженным лицом продолжал голосить Плотников.

– Как это где? – Парасья начала просыпаться. – Она с тобой должна быть. Болтаете вы с ней допоздна каждый вечер, знамо дело.

– Вот я здесь, перед вами. А где Анна?

Проснулись все.

В самом деле, где она, Анна? Где? Народ заволновался.

– Да где она может быть? С нами же была. Все ее видели, с нами была.

– Когда была?

И вот на этот вопрос толком не ответил никто. Все вдруг осознали: последний раз видели ее на льду.

Бригадира Зосимова пришлось долго расталкивать. Он сидел, тряс головой и наконец вспомнил:

– Дак я же посылал ее на край участка проверить, не осталось ли там чего неприбранного.

Он округлил глаза, перекошенное, израненное лицо его задергалось в нервном тике. В глазах вспыхнул ужас.

– Разве она не вернулась?

И склонил резко голову. Плечи его скукожились, руками он схватился за столешницу, пальцы затряслись... Потом он схватил штаны, начал совать ногу в штанину, никак не мог попасть...

Охваченная тяжелым, мертвящим сном Аня едва почувствовала, как в левый бок ее ткнулось что-то мягкое и тяжеленькое, прижалось к ней и стало потихоньку греть.

Потом она с трудом, как в тяжелом беспробудном сне, слышала постанывания и всхлипывания. Так плачет проголодавшийся грудной ребенок, тянущийся к маминой груди. Этот кто-то прижимался к ней всем тельцем и как будто искал ласки и еды. От тельца веяло слабым, но глубоким теплом.

«Наверно, это мне так блазнится, – подумалось ей среди тяжелой полудремы, – но это значит, что я еще жива?»

Ане захотелось повернуться к нему и понять: кто это? Но тело ее не слушалось.

И вот надо же! С другого ее, правого бока тоже прильнуло что-то такое же плотное и упругое и тоже стало потихоньку согревать. До этого она боялась уснуть, боялась, что никогда больше не проснется. Теперь же, пусть и совсем немножко, но все же обогретая неизвестными живыми созданиями, она уснула, уже не опасаясь умереть во сне.

Ночью к ней пришел ее отец Федор Севириянович Матвеев. Пришел из ночного мрака со стороны моря. Он был без шапки, в линялой гимнастерке, и ветер пошевеливал седые его волосы. Шел к ней и шаркал о лед каблуками кирзовых сапог. И это гулкое шарканье разносилось далеко над ледяным полем. Он подошел к дочери совсем близко, и от него повеяло бесконечно близким с детства, бесконечно родным отцовским запахом. В нем было намешано так много памятно-домашнего, что у Ани перехватило дыхание. И аромат дома, и сенокоса, и запахи морских водорослей, и всей деревни, и ароматный дух отцовских густых волос, в которые маленькая Аня любила прятать свое лицо, и многое другое родное, связанное с ее детской беззаботной жизнью, когда все были дома, были здоровы и когда не было войны.

Он сел на колени совсем рядом с ней, сел прямо на лед. На груди его висела медаль, а рядом с медалью виднелась дырочка, отчетливо сквозная, через которую Аня видела далекую маленькую звездочку, мерцающую на небе за отцовской спиной.

— Почему ты седой, папа? У тебя ведь были такие красивые черные волосы.

— Бой был тяжелый очень. Я в нем поседел. Людей много погибло.

– Зачем ты стоишь на коленях на льду? Ты ведь простудишь ноги! И без шапки! Ты же можешь заболеть.

– Доченька моя, тебе тяжело сейчас, но я с тобой. Я все время с тобой, хочу, чтобы ты это знала.

Аня хотела протянуть руку к его лицу, но рука была непомерно тяжелой...

– Мне не холодно, мне хорошо с тобой, доченька. Я попрошу, чтобы ты не умерла сейчас. Ты должна жить, чтобы выжили мои сыночки, твои братики, чтобы мама наша поправилась. Ты за меня в семье осталась, все на тебе... Думаю, меня послушают, я ведь погиб за матушку нашу, за Россию...

Он поклонился своей дочери низко-низко, коснулся лбом льда и словно растворился в воздухе.

Сквозь мрак ледяного сна услышала Аня, как ее зовет к себе родная деревня. Послышался ей перезвон весенних сосулек, свесившихся с летнего ската крыши, теньканье прозрачных капелек, падающих с них.

Ей промычала Зорька, любимая семейная корова, которая стоит в хлеву и ждет не дождется прихода настоящего тепла. Поднадоело Зорьке коротать длинную северную зиму в тесном стойле. Аня узнала ее призывное мычание.

Горланисто и отчетливо звонко пропели для Ани крикливые свои песни деревенские петухи. Разбудили, наверно, всю деревню. Их голоса тоже давно знакомы Ане.

Она услышала лай соседского пса Буянка, своего любим-

ца. Буянко, когда видит Аню, открыто ей радуется, весело взлаивает, растягивает в улыбке свою клыкастую пасть и несет ей изгрызенную до невозможности, но всегда одну и ту же палку и требует, чтобы Аня с ним поиграла. Та игру поддерживает и старается вырвать палку из Буянковой пасти. Пес старается тоже. Он страшно и люто рычит, будто жутко злится на Аню, вертит рыжей своей башкой и делает вид, что хочет палку отнять. Так они играют. Сейчас Буянко очень ждет Аню. Ждет и зовет.

Ждет ее и скворец, который каждый год селится в скворечнике, выструганном отцом и установленном на вершине телеграфного столба прямо напротив их крыльца. Анин отец, взгромоздив скворечник на столб в конце зимы, никак не мог дожидаться, когда же прилетит скворец. Нервничал: к тому прилетели, к этому тоже, а у нас никто не селится.

Однажды утром отец разбудил Аню, крадучись подошел вместе с ней к окошку и завороченно громко прошептал:

– Гляди-ко, Анютка, гляди!

Прямо на крыше скворечника, выгнув в сказочной позе кверху голову, широко раскрыв клюв, растопылив крылья, щебетал дивные песни наконец-то прилетевший скворец. Аня помнит, как они с отцом сидели у окошка, ошеломленные, восторженные, радостные...

Сейчас до Ани вновь донеслась весенняя, зовущая ее домой песня того самого их с отцом скворца.

Где-то на краю деревни стучит и стучит топор. Это рубит

баню вернувшийся домой без ноги Ефим Федотов, сорока-летний деревенский конюх. И стукоток этот доносится до-сюда, до этой холодной льдины.

А на самом морском берегу, на ледяной корке, у воды стоят трое: ее мама Наталья Александровна и братишки Сашка с Сережкой. Они внимательно и пристально всматриваются в морскую даль и кричат в сумрачный, далекий простор, в голомень что-то родное и нежное. Аня не может разобрать их слова, но она понимает: они зовут ее домой.

Капитан «Лены» был опытным моряком. Когда судно было на переходе, он никогда не уходил в свою каюту, а спал прямо в капитанской рубке. Вот и сейчас второй его помощник был у штурвала и вел корабль по Белому морю. Курс – Архангельск. А капитан отдыхал на топчане, как здесь недавно ночевала Анна Матвеева.

И тут в капитанскую рубку ворвались двое совершенно ошеломленных чем-то людей. А конкретно четвертый штурман Михаил Плотников и какой-то взвинченный, косноязычный мужик, как потом оказалось, колхозный бригадир Петр Зосимов.

– Человека бросили! – заорали они благим матом. – Человек на льду остался!

Капитан давно не просыпался в таком кошмаре. На него тарасились два взбешенных, потерявших нормы приличия субъекта. Они стояли перед ним, еще не проснувшись, и выкрикивали какие-то неслыханные в своей несуразности и невозможности слова.

– Мы человека бросили! Скорее всего, она уже погибла!

И что-то еще, совершенно не укладывающееся в голове. Впрочем, такие слова в основном выкрикивал его помощник Плотников. Хороший парень, но тут прямо паникер какой-то.

Капитан сидел на топчане в кальсонах и в белой рубаше и совершенно ничего не мог понять. Наконец он проснулся и сказал насколько мог спокойно:

– Миша, ты помолчи, прошу тебя.

И приказал Зосимову:

– А ты говори.

Зосимов с заплетающимся языком, как мог членораздельно, сказал, что на месте промысла случайно осталась член их бригады Анна Матвеева.

Капитан ничего не понимал:

– Как это случайно? Это можно молоток случайно забыть или там плоскогубцы, а тут человек.

– Бросили мы ее, бросили, вот и все! Погибает она там одна, мороз там! Девчонка же! – в опил Плотников.

Капитан вспомнил ее.

– Это та Матвеева, которая чай у нас пила?

– Та самая, та самая, – орал помощник, – спасти ее надо, срочно спасти! Возвращаться надо.

– Информация проверена? – спросил капитан, натягивая на кальсоны форменные брюки. – Тут нет никакой ошибки, товарищи?

– Да какая тут ошибка, человек погибает! Одна на льду, мороз, вы это понимаете? – продолжал кричать четвертый помощник.

– Витя, стоп машина! – твердо сказал капитан старшему помощнику, стоящему у штурвала. – И вызови мне по рации

«Мелехова».

Радиосовещание между капитанами транспортного судна «Лена» и ледокола «Капитан Мелехов» состоялось на траверзе поморской деревни Летний Наволок. Было решено «Мелехова» отправить обратно на поиски Анны Матвеевой. С этой целью на борт ледокола был пересажен бригадир зверобоев Петр Зосимов. А транспорт «Лена» со своим ценным грузом продолжил путь в Архангельск.

Четвертый штурман «Лены» Михаил Плотников всеми силами тоже рвался пересечь на «Капитана Мелехова». Его с трудом удержали. И, наклонившись через борт транспорта, он кричал вслед уходящему ледоколу:

– Передайте Ане, что я ее жду! Жду я ее!

Но ветер, волны и шуршание льда о борта судна заглушали его крик.

А уплывающий обратно отставной сержант, а ныне бригадир Петр Зосимов знал, что нельзя ему возвращаться в деревню без живой Ани Матвеевой, что деревня не простит ему, если с ней случится что-нибудь плохое. Он ведь старший, а это значит, что отвечает за все.

Медленно вылезающее из-за моря, из-за дальних льдов солнце, приподнявшись над горизонтом, из огромной своей полости вылило желто-красную краску на белый ледяной простор, на торосы.

Краска эта залила все бескрайнее синее морское пространство и белое безмолвие, бесконечно раскинувшееся вдоль побережья. И на схваченной ночным и утренним крепким морозом ледяной поверхности образовались миллиарды похожих на снежинки хрусталиков. Разбросанные на льду, они выстреливали в воздух, в пространство яркие разноцветные брызги солнечных лучиков. И лед на многие километры был похож на сказочно роскошный, тончайшей работы дивный ковер, усыпанный драгоценными камнями.

Аня открыла глаза. Первая пришедшая мысль была: «Я все еще жива».

Все тело было деревянным и почти не двигалось. Очень болели ступни и пальцы ног, страшно ныли колени, стали ледяными ладони. Гортань будто залило свинцом.

Она понимала: ее спасало то, что она лежала на тюленьей шкуре, которая не пропускает холод, идущий ото льда. Кроме того, по бокам к ней прижались и отдавали ей свое тепло какие-то живые существа.

Кто же это?

Аня с большим трудом повернула голову налево и обомлела: к ней прижался и, закрыв глаза, посапывал маленький тюлененок. Он был совершенно белый. Значит, возраст его около двух недель, подумала она. Это белек. Скоро детеныш гренландского тюленя начнет покрываться серыми пятнами и станет именоваться хохлушей.

А что же присоседилось с другой стороны? Ане тяжело дался поворот головы на правую сторону – шея, перехваченная морозом, совсем не слушалась. Справа, тесно к ней прижавшись, спал богатырским сном другой тюлененок. Только не совсем белый. Этот уже начал свою перекраску: на его лбу выше глаза серело маленькое серое пятнышко.

Она поняла, что в крошечной темноте они приняли ее за свою маму, прильнули к ней и укрылись под ее надежной защитой.

Аня совсем не знала, да и не могла знать, что шкура, на которой она лежала, была шкурой матери этих тюленят – Утельги. И что бельки пришли сюда на запах своей матери.

Она хотела сказать им что-нибудь ласковое, ободряющее, но горло ее замерзло. И рот, и губы тоже не двигались. Тогда она стала говорить с ними. Беззвучно, про себя.

– Я теперь буду вашей мамой, дорогие мои дети, – говорила она, глядя полузамерзшими глазами в небо. – Во-первых, спасибо вам за то, что вы спасли мне жизнь. Я теперь буду вам благодарна всегда. Во-вторых, как любящая мама, я обязана дать вам имена. Ты, беленький, получишь краси-

вое имя и будешь называться Беляком, – тут она маленько подумала, – а ты, с пятнышком, получишь не менее красивое имя. Ты теперь будешь Пятнышком. Согласны, дети мои? Ну чего вы сразу загалдели, заперебивали друг дружку? Вижу, что согласны. Вот и хорошо, вот и молодцы.

Аня попробовала пошевелить ногами. Ничего у нее не получилось.

– А теперь, в-третьих, – продолжила она разговор со своими малыми детками, – вы должны твердо знать, что я, ваша мама, никогда не дам вас в обиду. Я же вас люблю, как же я могу допустить, чтобы моих деток кто-то обижал...

Солнце приподнялось над горизонтом и обдало природу слабеньким, еле различимым теплом. Но уже легкое дуновение мартовского северного солнца вызвало испарину схваченной ночным морозом ледяной поверхности, и над белым пространством повис холодный искрящийся туман. Воздух от этого стал еще более промозглым.

– Знаете, дети мои, чего я хотела бы больше всего на свете? – беззвучно разговаривала с Беляком и Пятнышком Аня. – Я очень хочу, чтобы выздоровела моя мама. Чтобы она играла опять со мной, пела своим замечательным голосом песни, чтобы ходила со мной в лес. А она только слабеет и слабеет. Это меня очень беспокоит, дети мои.

Из глаз ее вытекли слезы, но она их не вытерла со щек, потому что не смогла поднять одеревеневшие руки. И слезы хрустальными стеклышками застыли на ее щеках.

Тюлененок, который был слева, зашевелился, и Аня с трудом повернула голову на своего Бесяка. Тот лежал, держа мордочку у нее под мышкой, и глядел на ее лицо немигающими черными глазами, похожими на черные маслины.

— Ну вот, сыночек мой Бесик, ты проснулся и слушаешь мамин рассказ. Наверно, Пятнышко тоже не спит. Тогда не перебивайте меня и сидите тихо. А я буду с вами разговаривать.

Еще я очень хочу, чтобы поскорее подросли мои братья. Они совсем меня не слушают, даже маму нашу слушают не всегда. Нам с ними трудно справляться. Уж скорее бы они стали серьезными. А вы, сыночки мои, что на это скажете?

Аня попробовала пошевелить пальцами рук. И не поняла, получилось у нее это или нет, потому что пальцев она не чувствовала. В ее ладонях, как и в ступнях ног, стояла неизбывно-тяжелая боль.

И еще были вопросы, которые совсем недавно стали ее сильно волновать. Совсем беззвучно, не шевеля ни губами, ни языком, она высказывала своим детям наболевшие эти вопросы:

— Серьезно ли относится ко мне Михаил Плотников? Не шалопут ли он какой-нибудь, не бабник ли? Я так боюсь в нем ошибиться... Нравлюсь ли я ему? Или это все шуточки для него? В фуражечку вырядился, видите ли...

А он, сыночки мои, мне нравится, даже очень. А может быть, и больше того. Волнуюсь я и почему-то тревожусь. Не

было со мной такого никогда...

А дети ее, Беляк и Пятнышко, ворочались у нее с двух сторон, прижимались к ней, хлопали своими черными глазами и что-то там попискивали, словно щенята рядом со своей мамкой.

Совсем зачоченевшая Аня Матвеева не сомневалась, что люди к ней вернутся, что ее найдут. Еще ей хотелось, чтобы за ней пришел, чтобы нашел ее четвертый помощник капитана Михаил Плотников. В своей фуражечке.

Она с трудом сдерживала смыкающиеся веки, но ей нельзя было спать, это она хорошо понимала.

Мысли ее вдруг ушли к Тому, Кого все чаще и чаще вспоминала ее мама. Она обращалась к нему обычно по ночам, когда все спали, и шепотом называла его то Господи, то Боженька. Мать упрашивала его пожалеть ее доченьку и ее сыночков. Просила, чтобы вернулся с войны муж, хотя на него пришла уже похоронка. «Но Ты верни его мне, верни, Господи, ведь я люблю его очень. Не нагладелась я на него, не надышалась. Хоть и прожили с ним изрядно, а все как один день. Не хватило мне... Да и семье-то как без отца, без кормильца? Не выжить ведь нам без него».

Еще она просила продлить ей хоть ненадолго жизнь. «Знаю я, – шептала она в ночную тишину, – что умру я скоро, лихоманка у меня неминуемая, съела меня совсем, но Ты, Боженька, продли хоть на годик-другой денечки мои. Надо мне ребятишек своих поднять. Малы ведь совсем да глупы. Не в приют же их отдавать. А Анечке моей надо учиться. Она умница у меня, в школе успевает на отлично. Но ведь избилась она совсем в трудах немилосердных. Девчонка еще малая, подросток, а работает больше всех. Не надорваться бы ей... Помоги нам, Господи, помоги и помилуй».

И мама тихо плакала в подушку.

И Аня тоже плакала. Ей было нестерпимо жалко свою маму.

Сейчас, первый раз в своей жизни, она тоже стала думать о Боге.

«Я тебя совсем не знаю, Боженька, и не могу разобраться точно, есть Ты или нет на белом свете. Я ведь комсомолка, а наш комсомол не верит в Тебя. Но в Тебя верит моя мама, а ей я доверяю больше всех на свете».

Потом она подумала и белыми беззвучными губами сказала Богу со всей решимостью:

– Теперь я тоже буду жить с верой в Тебя, как моя мама. Так мне легче будет жить, я это точно знаю.

Аня попробовала пошевелиться. Движения не получилось. Тело совсем ее не слушалось. Только с боков ее подталкивали, пошевеливали ее тельце и отдавали часть своего тепла два живых существа, ее сыночки Беляк и Пятнышко.

«Я прошу Тебя, Боженька, выручи меня, помоги мне. Мне совсем не хочется умирать. Рано ведь еще. Я в жизни ничего не видела... Пусть за мной придут».

Силы совсем оставили ее. Она обратила к Боженьке последнюю свою мысль:

«И помоги сыночкам моим Беляку и Пятнышку. Они ведь тоже остались без матери».

И потеряла сознание.

Было десять часов восемнадцать минут утра. Стояло 15 марта 1945 года. Ледокол «Капитан Мелехов» причалил к ледовой кромке как раз в том месте, откуда вчера отходило транспортное судно «Лена». Бригадир зверобойной команды Петр Зосимов сам выбросил за борт и закрепил деревянный слип. Он буквально сбегал с трапа и быстрым шагом вперемежку с трусцой посеменял туда, куда вчера ушла отправленная им Анна Матвеева. За ним поспевал один из матросов ледокола, Шостак, выделенный ему в помощь боцманом.

Зосимов торопился и изнывал от своей малой скорости. Но быстрее двигаться он не мог — мешала одышка. Дышать полной грудью не давало пробитое осколком легкое. Он страшно клял себя: как же, как же потерял он Аню? Недоглядел, вернулась ли она, зашла ли на борт. Сам послал, а не проверил, пришел ли человек обратно. Конечно, оправдание имеется: спешка, погрузка, суета, простуда эта... А он главный. За всем и за всеми разве уследишь? Заботушки в такие минуты много... Но ведь сам же отправил девчонку! Сам! И фактически оставил ее одну. Считай, что бросил.

И когда шли на ледоколе, и сейчас его терзала, разворачивала ему душу еще одна зловередная мысль: что бы сказал ему в эту вот минуту Федор Матвеев, мастеровой мужик, уважаемый в колхозе человек, который еще в предвоенные

годы учил его рыбодобыче и зверобойке и который лежит где-то в карельской земле? Отец Анны. Ничего хорошего он не сказал бы, а может быть, и рожу ему набил. И правильно бы сделал.

...Аня лежала на тюленьей шкуре неподвижная, с мертвенно-белым лицом и, показалось Зосимову, бездыханная.

Он рванулся к ней, прильнул к лицу, ко рту: дышит или нет? Нет, дыхания не слышно. Не дышит! Сердце тоже молчало. Эх ты, беда! Он понимал, он знал, что у умирающего на морозе человека дыхание как бы замирает, его трудно обнаружить, даже если человек еще дышит. И тогда он стал перед ее лицом на колени и сбоку уставился на едва открытый рот. Должен быть парок, если человек дышит.

Ничего не видно.

Зосимов замер, распахнул широко глаза, вгляделся в белые губы, в темную извилинку между ними... Ему показалось, что в какое-то мгновение между Аниных губ промелькнула полупрозрачная, тоненькая, невесомая полоска морозного пара.

Может, и показалось, но в ожесточенно стучащем от волнения сердце его родилась крохотная нотка надежды, родилась и подала свой слабенький, но радостный голосочек. Она зазвучала, эта нотка.

И Зосимов скинул рукавицы, стал теплыми ладонями растирать лицо Ани, ее руки, ноги, тело.

– Жива ты, Аня, жива! Теперь не умрешь! Мы тебя вы-

правим! Оживай, девочка, оживай! Ишь, помирать удумала! Рано тебе помирать! Ты сперва внучат нарожай Федору...

Он не говорил, а кричал. Наверно, подспудно ему казалось, что его крик может разбудить Анну Матвееву, отринуть от навалившегося непомерно тяжелого сна.

Он чего-то еще выговаривал, кричал, растирая Анино тельце. Пока его умоляющий вопль не разбил болезненные препоны, загородившие ее от живого мира, пока она в самом деле не услышала его спасительный крик и не открыла с трудом веки.

Только после этого обессиленный Зосимов перевалился набок и зашелся в судорожном кашле. Из рта выплескивались маленькие капельки крови.

– Ничего, – хрипел он, – это легкое хандрит, едри его корень, пройдет оно, ничего.

Только теперь разглядел он, что его каблук на сапоге пытается в клочья разорвать белый маленький тюлененок. Справиться с каблуком у него не хватало силенок, но он урчал, посвистывал и крепко с ним воевал.

– Ну ты, брат, даешь, – сказал бригадир, отталкивая тюлененка другой ногой, – чем же я тебе насолил?

Со вторым тюлененком, что был на другой стороне от лежащей на льду Ани, воевал матрос Шостак. Белоснежный малыш напал на него и старался цапнуть за ногу.

– Эх, жалко, я багра не взял, – возмущался тот, – сейчас бы тюкнул, да и все.

– Не трогай их, – прохрипел ему Зосимов, – видишь, они нашу девочку обороняют. Они, наверно, спали рядом с ней, за мамку приняли. А тут мы пришлепали. Вот они и гонят нас от своей мамки.

– Такие клопы, а туда же, нападать, – возмущался и весело шумел Шостак и кое-как все же отодвинул тюленят в сторонку. Те сидели теперь в трех метрах от людей, помаргивали черными круглыми глазками, хоркали и посвистывали. Наверно, они возмущались человеческим нашествием на их обжитую территорию.

Аня лежала, открыв глаза, и молчала. Теперь ее оттирал Шостак. Наконец она тяжело-тяжело повернула голову к Петру Зосимову и едва различимо ему улыбнулась.

– Ну, все, – расплылся в радости бригадир, – стала улыбаться – теперь не помрет. Давай, матрос, понесем ее на судно.

Они ушли и унесли на руках Аню. А ее сыночки Беляк и Пятнышко сидели рядышком и глядели им вслед.

И эта мама от них ушла.

Аня пролежала в больнице долго – целый месяц. С трудом восстанавливались сильно обмороженное лицо, руки, ноги, тяжело залечивалось сильнейшее двухстороннее воспаление легких.

Но какую хворь не одолеет юный крепкий организм?

И вот она, с перевязанными руками и ногами, уже выходит из палаты, прохаживается по больничным коридорам, воркует с нянечками и медсестрами.

Ее тут все уже знают, все именуют ее с ласковым уважением – Анечкой. Всем известно и об Анечкиных страшных приключениях. Все хотят с ней поговорить, познакомиться. И она – добрая душа – общается с людьми с открытым сердцем.

В крепких ее снах возникают перед ней картины страшной той ночи. И в укутанные бинтами ее ноги ложатся два белых ангелочка с черными глазками, ее сыночки Беляк и Пятнышко. Они снова прижимаются к ней теплыми бочками, от этого и ногам ее, и телу становится тепло-тепло. Аня давно уже знает, что ангелочков этих послал ей Тот, к Кому она обращалась за помощью, к Кому обращался и ее отец. Она знает, что помощь Его спасла ее.

А кисти рук, получившие сильнейшие обморожения, спасли от ампутации теплые варежки, подаренные четвер-

тым помощником капитана транспортного судна «Лена» Михаилом Плотниковым. Об этом ей сказали врачи. Уже три раза прибегал к ней в больницу и он сам.

У судна «Лена», как и у любого задействованного в каботажных перевозках, короткие рейсы: снабжение поморских деревень и воинских частей всем необходимым, доставка и выброска геологических партий, перевозка грузов и специалистов на Новую Землю и в другие точки Белого и Баренцева морей, да мало ли чего еще потребуют нужды народного хозяйства. А возвращение – всегда в родной город, в порт приписки Архангельск. Этого возвращения Михаил с некоторых пор ждет особенно...

Когда он встречает Аню Матвееву, у всех возникает ощущение, что не может Михаил надышаться самим ее присутствием, тем, что она рядом. И люди всегда радуются его приходу, потому что этот парень всегда приносит с собой откровенный праздник любви. Скажите, кто не рад такому празднику?

Аня тоже его всегда ждет, очень ждет.

День выписки из больницы счастливо совпал с приходом «Лены» в родной порт.

Плотников ворвался в больницу с букетом гвоздик, возбужденный и счастливый оттого, что не опоздал. Аня ждала его в вестибюле. Сидела и ждала неизвестно чего и была уверена: он придет. И он пришел!

Потом они долго-долго, до самой ночи просидели у мамии-

ной тети, Павлы Андреевны, живущей в Соломбале, говорили-говорили и не могли наговориться.

Мише нельзя было опаздывать на вахту, и он умчался на свое судно. Аня на другое утро уехала в свою деревню.

Перед тем как расстаться, они обещали писать друг другу письма, и обещание свое сдержали. И подружились крепко-крепко.

На всю жизнь.

Дедушко Павлин

Митрохины именины

Нет рассказчика и весельчака в деревне картинистее дедушки Павлина. И когда где какая собирается госьба, толковый хозяин, даже если и не состоит с ним в родстве или друзьях, обязательно тем не менее его пригласит. Деду много ведь и не надо: поднеси ему чарочку да усади куда-нибудь на краешек, он и сидит потихонечку, ждет, когда придет его час. Дедушко очень обожает быть в обществе и чувствует себя в такой обстановке как рыба в воде. Приглашают деда, конечно, с умыслом: вдруг гости попадутся мрачные и некому будет их рассмешить. Тогда какие там песни... А госьба без песен – это, брат, не шутки. Это прежде всего удар по авторитету хозяина дома, неминуемые пересуды на следующее утро: «У Митрохи-то на именинах и не пели!» И пойдет, и поедет, и получится, что докатился Митроха в жизни своей забубенной – дальше некуда. Понимает это Митроха, очень хорошо понимает, и, дабы накрепко оградить себя от возможных козней гостей, зазывает он и потчует дедушку Павлина.

Дед знает об этой своей предназначенности и поэтому ведет себя за столом не то чтобы важно, а с особым достоин-

ством человека, черед которого еще не пришел, но придет наверняка. И глаза его, мутноватые в такие минуты, светятся блаженной грустью: и что бы вы тут, мол, без меня-то... Время деда Павлина настает, когда души мужиков начинает потихонечку сдавливать некая сила, и ей требуется какой-то выход, а выходу почти ничто не препятствует, потому как мужики приняли уже крепко. Сразу начинается нечто вроде антракта, за которым должно последовать новое действие...

Дедушко Павлин наступление этого антракта чувствует нутром – за это его ценят. Наступает его час.

– Н-н-дак это в ерманьску, помню... – Он всегда обычно так начинает свои выступления. Дальше может последовать что угодно: байка, анекдот, частушка. Говорит дед негромко, обращаясь к кому-нибудь сидящему напротив, и эти негромкие слова его почему-то неминуемо приковывают внимание – дедушко Павлин бьет в яблочко.

Замолкают все.

– Чево, Павлин Иванович, про че ты, не расслышалось? – лезет кто-нибудь из дальнего угла с запоздалыми вопросами. Дед Павлин на это неуместное вступление с важностью не реагирует, и мужик, зашиканный и затолканный локтями, умолкает.

– Дак я гурю, Трофимовна, как так бывает, в ерманьску мог, а чичас сила не берет?

– Эт он про бабку свою, Анисью, рассказывает, – предполагает кто-то.

Разрождается чей-то хохоток.

Дед же с недрогнувшей серьезностью беседует с Трофимовой.

— Како дело, понимаешь, песни тады мог складывать, — для скромности уточняет он. — Ну не длинные, конешно, не народные, а припевки. Получалиси-сь, деинка! Нагольны грамоты за них получал.

Тут уж мало кто выдерживает. Мужичкий хохот, бабий грай.

— Ох, темнеченько-о! Тогды грамот-то не было...

Все понимают, что дед начал очередную бухтину, но поддерживают ее все:

— Дак спой, чего сочинил-то, спой давай, дедушко!

Только тогда дед Павлин начинает улыбаться и приглаживает усы, словно раздвигает улыбку еще шире.

— Ну-ко, Митроха, куды-т твою раскуды, где гармонь? Чичас вмажу!

Гармонь у запасливого и расторопного Митрохи, продававшего заранее сценарий госьбы, лежит в снях, но он всплескивает руками — мол, вот, едрена корень, кабы знать е! — выбегает из избы на поиски, но возвращается быстро, чтобы не охладить в гостях тягу к песне.

Дед Павлин обращается с гармонью небрежно, как бы нарочно мнет ее и треплет. Наверно, потому, чтобы гости не обращали особого внимания на игру, а играет он плохо. Старые согнутые пальцы неверно прыгают по ладам, путая их

до неузнаваемости самой мелодии. Но небрежность с инструментом скрадывает этот, должно быть, серьезный недостаток, и гармонь выступает лишь как один из элементов оформления дедушкиного концерта, как неизбежный его атрибут.

Вначале следует обычно неровный перебор с этакой заливчатостью и претензией на удаль. Дедушко Павлин вытягивает шею и отворачивается от гармошки.

– О-о-ох! Ух та-а!

Вы припевочки мои, ой вы девочки мои!

Ух та-а!

Потом пойдут сами частушки. Одна, другая, третья. Дед и поет-то, наверно, плохо, но с таким немислимым задором и расфуфыренностью, что бабы начинают сначала повизгивать, покрикивать: «Ох, тошнехонько!», потом пойдут в пляс. Мужики таращат глаза, покрывают, довольные: «Отдает Павлин Иванович», – но пока еще сидят. Дедушко в частушках умеет вставить к месту чье-нибудь имя. Изложенная в короткой песенке ситуация становится узнаваемой, и это добавляет веселья. Тематика чередующихся куплетов у деда тоже, видимо, продумана. В кульминации какого-нибудь частушечного сюжета, состоящего из четырех-пяти песенок, обязательно включается припевка с перчиком:

– Мимо тешиного дома

Я без шуток не хожу...

Но на «госьбах» такие штучки проходят на ура. Дед это понимает и под одобрительный хохот мужиков и визг пляшущих баб продолжает свое сольное выступление. Вот уже в круг вступили и самые труднозаводимые мужики. Наяривает и выламывается в неведомых музыкальных выкрутасах гармошка, прыгает на коленях у дедушки Павлина. По лицу гармониста течет пот, он трясет редкими седыми волосами и хриплым усталым голосом выкрикивает все новые куплеты... Гуляет госьба. Односельчане справляют Митрохины именины.

Я кручусь где-нибудь поблизости и терпеливо жду дедушку: надо проводить его домой. В иной компании бывает у него и перебор, и тогда одному попадать домой ему трудно. Да и без этого я бы ждал его. С ним мне всегда хорошо и интересно...

Чтобы убить время, ставлю в проулок чурбачок и кидаю в него комьями земли, рыскаю глазами: не появится ли в пределах досягаемости чья-нибудь кошка или даже собака, не очень бы только крупная, чтобы зафитилить и по ним – по живой-то мишени интереснее. На деревню спускается потихоньку серенький летний вечер. Вот гармошка из последних сил звякает, смолкает топот пляски, и я вздыхаю облегченно: дедушко Павлин скоро выйдет. Он никогда не сидит долго после заводки, устает, наверно, очень.

«Вот кто-то с горочки спустился...» – затягивает бас, его тут же подхватывают. Пошли песни. Дед, получивший порцию неминуемых восторгов («От отчебучил Павлин Иванович!»), выпивает сейчас, должно быть, с важным видом чарочку «на последнюю ногу», крутит усы и потихоньку собирается... Он свое дело сделал. Вот-вот выйдет...

И впрямь. В сенях слышатся голоса, возня... Там Митроха, ошалелый от привалившего счастья, от небывалого успеха устроенной в его доме госьбы, сыплет дедушке благодарности: «Уважил, Павлин Иванович, от уважил, любушка!.. Я завсегда...»

Открывается наконец входная дверь, и дедушко Павлин, весь довольнешенький, раскрасневшийся, появляется на крыльце. Он напяливает кепку и притоптывает ногой, отдышивается. Потом видит меня и, будто мое появление тут крайне неожиданно, восклицает:

– Пашко, ты-то откуль взялся?

– Тебя жду, дедушко.

Я знаю, что для него сцена эта желанна, и он всегда со старанием разыгрывает свое удивление, хотя ему приятно, конечно, что я его жду всякий раз. Потому что дедушко Павлин меня любит, как люблю его и я.

– Дак поздно ведь уже. Батько-то ремнем не ожедернет?

– Не-е, – отвечаю уверенно, – не ожедернет! Счас ведь каникулы, а я сказал, что пошел к вам в гости.

Наши с дедушкой Павлином дома стоят рядом. Он живет

там с бабушкой Анисьей Петровной, и я в гости к ним бегаю часто.

По дороге дед долго еще отходит от своего триумфа и возбужденно, разгоряченно восклицает:

– Показал, едрена корень, как надо-то! А то расселись, как молчуны каки!

Особенно радует дедушку реакция гостей на его выступления.

– А Степан-то Матвеич мне и... – слышь, Пашко? – Степан-то Матвеич мне говорит: ты, говорит, Павлин Иванович, молодых-то ишшо всех обыграешь. Куды, говорит, до тебя молодым-то!

Идем мы с дедушкой Павлином вдоль деревни по самому берегу моря. Мелкие волны легонько шлепают о твердый песок и силятся добежать до наших ног. Я бы не прочь, конечно, поиграть с волнами, но сейчас нельзя, я веду дедушку подальше от воды. Ему опасно в сырость, у него ноги старые. Он положил руку на мое плечо и тихонько на него опирается, чтобы я знал, что не зря дожидался, что я его помощник.

Напротив наших домов дедушко говорит:

– Давай, Паша, посидим манешенько. Чего-то в тягость по песку ходить стало.

И мы садимся на бревнышко и глядим на море. Над нами раскинул бескрайние сероватые крылья дивный вечер первой половины северного лета, долгий и тихий. Ленивый, легкоккрылый, чуточку знобкий ветер шелестит по матовой воде,

будто гладит ее поверхность, отчего море, дремотное, размлевшее за день, довольно урчит на мелких прибойных камушках. Мы сидим и смотрим, как прямо перед нами из моря вылезает и стряхивает брызги огромная безрогая спелая луна. Вот она уже висит над водой, безмятежная, умытая, ядренная, и багрово отсвечивает, как начищенный медный таз. Дедушко Павлин всматривается в луну внимательно, словно в зеркало, блаженно щурит маленькие свои старческие глаза и поглаживает ус.

– От уже благодать-то, Павлушко, – шепчет он умиленно. – Эк расфорсилась тишинка.

Воздух напоен запахами выброшенных морем на берег водорослей, ракушек, звезд, солью и горечью воды – запахами моря. Дедушко вдыхает его глубоко, как затяжки любимых им сигарок. Вдруг я слышу, как он всхлипывает.

– Ты чево это, дедушко?

– Помирать надо скоро, Павлушко, а мне рано вроде, не нагляделся ишшо.

Такого дедушко еще не говорил, и мне становится немного жутковато. Как могу, я успокаиваю его, но дедушко Павлин все плачет и вытирает лицо рукавом. Потом он гладит мои волосы скрюченной своей ладонью и приговаривает:

– От красотишша-а!..

На подходе к дому дедушко наконец становится прежним и подмигивает мне заговорщически:

– Ты, Пашко, в разведку хаживал?

– Хаживал, – отвечаю.

– Тогда слушай боево поручение: выяснить надо настроенье Анисьи Петровны. А то как бы нам с тобой по костылям не схлопотать.

Я вытягиваюсь в струнку: «Есть выяснить настроение!» Боевая задача мне по душе. Дедушко прячется за поветью, а я смело поднимаюсь по крыльцу, стучу, как подобает, в дверь и захожу в избу. Анисья Петровна греет самовар.

– Здравствуйте, – говорю и как ни в чем не бывало интересуюсь: – А где дедушко-то?

– Леший унес куды-то, к Митрохе вроде, – отвечает она сердито. – Третий раз самовар калю. Ну придет, дак...

– Да нету его у Митрохи, – подливаю я масла в огонь. – Может, в другом месте где сидит.

– Как эт не у Митрохи? К ему, сказал... – начинает беспокоиться Анисья Петровна и садится на стул. Глаза ее растревожились. – Быват, уж лежит где-нибудь, да! Не молодой уж. Вот беда-то, беда-то! – начинает всплескивать она руками.

– Ну ладно, – говорю я важно, – пойду сейчас искать. Может, и найду где.

– Сходи уж, батюшко, пособи... Я-то тоже чичас обряжусь да пойду. Не пропал ли дедко-то?

Под ее оханье я выхожу на крыльцо и окликаю дедушку. «Обстановка нормальная», – докладываю ему.

Анисья Петровна встречает нас восторженно, хохочет и радостно ругает:

– Вот лиходеи! Старой да малой. Омманули бабку!

Потом мы втроем пьем чай с творожными шаньгами, и дедушко, причмокивая и фыркая, возбужденно рассказывает снова, как он уел молодежь на госьбе.

– Петь, понимаешь ты, не хотят! Расселись!

Когда я собираюсь домой и прощаюсь со стариками, дедушко Павлин напутствует:

– Ежели батько за ремень возьмется, скажи, что у меня был.

Я обещаю так и сделать и выскакиваю опять в немного пасмурный и свежий летний вечер.

Как я хотел стать знаменитым

Дедушко Павлин называет меня теперь своим крестным отцом. Называет, конечно, больше в шутку, но мне это страшно нравится, тем более что сам дедушко уверяет, что имя это я вполне заслужил. Он даже говорит, что, будь его воля, он бы обязательно меня наградил медалью или же почетной грамотой. Я бы и сам не против, но дедушко Павлин просто дедушка, а никакой не начальник, даже не председатель сельсовета, поэтому награждение меня ни грамотой, ни медалью не состоялось. Жаль. Зато как компенсацию за это я получил право называться крестным дедушки Павлина, и мой друг Колька Гуляев завидуует мне до крайности.

Получилось все из-за младшей сестры дедушки Павлина, тетки Анны.

Выйдя на пенсию, она вознамерилась вдруг заниматься рыбалкой и увлеклась этим, видно, очень сильно. То и дело видал я ее с удочкой на Белой реке, что течет рядом с деревней. Бабы и мужики над ней посмеивались, да и сам Павлин Иванович тоже, но она чуть не каждый вечер шла домой через главную улицу поселка и гордо несла на кукане десяток-другой тощих ершей и окуньков. Обликом и осанкой напоминала она в такие минуты укротительницу самых кровожадных хищных зверей. В конце концов блюда из ершей, видимо, надоели мужу тетки Анны – старому усатому

деревенскому фельдшеру, но больше у нее ничего не клева-
ло, да и не водилось другой рыбы в мелководной Белой реке.
Вот тогда-то и обратился ко мне Павлин Иванович.

– Сестра-то моя совсем ошалела на старости лет, – посе-
товал он. – Пристала: подъязков, грит, хочу поудить. От яд-
рена корень! Ты уж отвел бы ее куда-нибудь. Лешой с ей-то!

Забот у меня, конечно, хватало и без тетки Анны, да и,
откровенно говоря, не было желания с ней валандаться, но
ведь сам дедушко попросил, и я сказал:

– Хорошо, пускай собирается.

Тетка Анна примчалась на другое же утро с самого ранья.
Выспаться не дала... В руке кривое удилище из длинной бе-
резовой вицы, глаза горят. Я, как и подобает многоопытному
рыбаку, со скептическим, даже чуть презрительным посви-
стыванием проверил ее снасти, указал, что крючок слишком
мал, что удилище не выдержит настоящей рыбы и что вооб-
ще надо накопать еще червей (пусть знает, что приходить в
такую рань к порядочному человеку и опытному рыбаку бес-
тактно). И тетка Анна, охая над собственной непредусмот-
рительностью, помчалась устранять указанные недостатки.
Я же тем временем понежился еще в постели и только съел
завтрак, как увидел в окошко тетку Анну. Что? Она уже все
сделала? Я выскочил на крыльцо. Удилище было заменено,
оно лежало на изгороди, длинное, легкое и, как видно, проч-
ное.

– А червей накопила, тетя Аня?

Она открыла банку. Там кишел целый клубок навозников. «Вот дает бабуся!» – подумал я восхищенно и уже тогда заторопился тоже.

Путь на Верхнюю реку, куда мы направились, был в общем-то недлинный: километра три через лес, до Переднего озера. Из него и вытекает река. Там, на ровных сенокосьях, вода тихая, глубокая, с травянистыми омутами. Подъездок водится в тех краях и в ведрую погоду клюет исправно.

Только вышли из поселка и перед заходом в лес поднялись на угор, я сглупил – похвастал тетке Анне, что недели две назад выудил на Верхней реке аж семнадцать штук!

– Во подъязины были! – отмерил на торце удилища невероятные размеры тех рыбин.

Тетка Анна, не шибко-то избалованная дарами Белой реки с ее ершами, приняла мой рассказ, конечно, на веру и раскочегарила по лесу так, что я чуть от нее не отстал.

Откуда и прыть-то такая взялась! Однако, как прибыли на место, я взял опять бразды правления в свои руки и уже командовал теткой Анной как учитель. Показал ей, как поприманистее, жирнее делать наживку, как осторожно надо подходить к омутку и заранее выбирать удобное место, чтобы не было сверху сучьев: на них обычно не обращаешь внимания, а как клюнет, рванешь удилище, а оно и застревает. Рыба на леске повисит-повисит, потрепещется, пока ширишься, – обязательно спрыгнет.

– Вот тогда, тетя, прыгай за им в речку-то, имай, – преду-

предил я тетку Анну.

Она слушала меня вроде внимательно, а сама аж зубами стучала от нетерпения. Умора!

С погодой нам повезло. Стояло безветренное, тихое, чуть сыроватое и теплое утро. Клев должен быть хорошим. От речки доносились чавкающие звуки. Там погуливали в водорослях и хватали садящуюся на воду мошкарку подъязки. От каждого всплеска тетка Анна вздрагивала.

Вот и первые забросы. Я чуть не упал от изумления и – что там говорить! – зависти, когда моя подопечная уже через пару минут выволокла подъязка. Он запрыгал на траве, красноплавниковый, серебряный и ядреный. Тетка Анна бросилась его хватать, потом, видно, поскользнулась и упала на рыбу животом. Надо бы посмеяться, да мне-то не до смеха. Я-то, опытный, стреляный рыбак, ничего не поймал!

Через полчаса рыбалки мы подошли к старой осине, упавшей поперек реки. Тут обычно рыбаки переходят на другой берег, потому что дальше идут сплошняком кусты и удить невозможно. Радостный, что не ударил в грязь лицом (в сумке, висевшей на боку, стучали упругими хвостами три подъязка – не меньше, чем у тетки Анны), я привычно перебежал по осине на другой берег.

Тетка Анна шла сзади, но я в азарте рыбалки не обратил внимания на нее – велико ли дело перебежать речку. Стал уже красться к кусту, за которым прятался уютный омуток, когда услышал сзади короткое «Ох!» и громоподоб-

ный всплеск... Оглянувшись, увидел лишь руки тетки Анны, торчащие из реки, да еще уплывающее от нее удилище...

В одну секунду взбежал я снова на осину и прыгнул вниз. И вот тут началась борьба с теткой Анной. Оказалось, что она совсем не умела плавать и, вместо того чтобы помочь мне вытаскивать себя из воды, обхватила вдруг меня за плечи, прижала к себе и всей тяжестью грузного своего тела потянула ко дну. Я увидел лишь ее широко раскрытые от неожиданного купания и страха, ничего не видящие глаза. Хорошо еще, что успел глотнуть немного воздуха и, достав ногами дно, сильно от него оттолкнулся.

Тетка Анна оторвалась от меня на несколько мгновений, но как только мы вынырнули, вновь на меня бросилась и стала хватать за одежду цепкими пальцами, при этом кричала что-то бессвязное и страшное.

Я понимал, что если она уцепится, мы вновь пойдем ко дну, и я отбивался от ее рук всеми силами. Мне тоже стало жутко и захотелось бросить тетку и выбраться на берег, который был совсем рядом. Но бросать было нельзя, невозможно... и я боролся с руками тетки Анны, которые хотели утянуть меня на дно, и кричал ей что-то ругательное...

Пока мы так барахтались, течение занесло нас в глубокий и тихий омут, где мы только что удиили подъязков. Силенки совсем уж покинули меня, и я с трудом держался на воде, тетку же Анну вдруг развернуло как-то боком, и она, потеряв меня из виду, вскрикнула протяжно и дико, и голова ее

скрылась. Я едва успел поймать капюшон ее легонькой брезентовой куртки. Как доплыл до берега и вытащил тетку Анну на песок, я в подробностях не помню. Остались какие-то мучительные и бесформенные обрывки воспоминаний: как выкатывал ее из воды, вперевалку, словно тяжеленную чурку, как ритмически давил коленками на ее спину, пониже лопаток, как начала она кашлять...

Потом я, наверно, уснул и проспал довольно долго, потому что, когда проснулся, солнце стояло уже над лесом, а тетка Анна сидела рядом и гладила меня по совсем уже сухой голове. Никогда бы раньше не поверил, что смогу вот так вот посреди дня закемарить на несколько часов, да еще на рыбалке!

Удить мы тогда больше не стали, не захотелось почему-то, а поднялись и пошли потихоньку домой.

Но это все не главное. Самое основное, что тетка Анна всю дорогу твердила мне, что я настоящий пионер, что я, мол, совершил подвиг и что она обязательно сообщит обо мне в «Пионерскую правду». Тут она попала в самую точку. Тогда меня только приняли в пионеры, «Пионерскую правду» я любил страшно и читал ее до последней точки, особенно нравились заметки под рубрикой «Так поступают пионеры». Читал их и думал: «Вот бы мне чего-нибудь совершить такое, чтобы и про меня написали в газете: он поступил как настоящий пионер». А тут тетка Анна подвернулась, и все, кажется, получилось как и у тех ребят, о которых уже напи-

сали...

Все то лето и всю осень с трепетом открывал я страницы «Пионерской правды», думал: ну, сегодня нет про меня, но завтра-то уж будет точно. Ложась в постель, мечтал, что о том, как я вытащил тетку Анну из Верхней реки, прочитает вся страна, и я стану самым знаменитым пионером в деревне, а может, и в целом Приморском районе, и меня будут уважать взрослые и ставить в пример...

Еще я рассуждал: напечатают или нет мою фотографию? О том, что для этого надо по меньшей мере сфотографироваться, и не думалось.

В общем, не написала обо мне «Пионерская правда» под рубрикой «Так поступают пионеры». Я решил, что тетка Анна не сообщила туда ничего, но не стал спрашивать у нее, так это или не так.

А может, в газете постановили, что поступок такого-то пионера из такой-то деревни не является столь уж важным, чтобы о нем писать на всю страну. Сам я больше склонялся к последнему, потому что тетка Анна хоть и зануда, но в общем хорошая и добрая. Так я и не стал знаменитым.

Но зато дедушко Павлин называет меня теперь своим крестным отцом. Говорит, что так полагается, если спасают от неминуемой гибели твоего родственника.

«А ты, – говорит, – Паша, спас мою родную сестру Анну Ивановну».

И мой друг Колька Гуляев страшно мне завидует.

Дядя Вася

Палатки мы с собой не взяли, и если бы не предусмотрительность Виктора, захватившего в последний момент легкий брезентовый тент, мокнуть бы ноченьку напролет под небесной водичкой. Так всегда бывает: неделю на небе, кроме солнышка, ни одного пятна, а как на охоту – то дождь, то снег, то ветрище. А ты одет как на пляже. Я едва успел разжечь костер, а Виктор уже охапку дров несет. И сухие, аж звенят. Где он их достал?

Честно говоря, завидую я своему другу. Ладный он какой-то и спокойный, если что сделает, можно не проверять: надежно. Вот как сейчас дрова на ночь заготовил – быстро, много и как порох. А стреляет как! Сегодня так красиво четырех вальдшнепов срезал, что двое молодых охотников с пятизарядками, которые стояли на другом конце поляны, аж палить своими очередями перестали. Все бегали к Виктору и кланчили:

– Слушай, шеф, добудь парочку! А то друзья засмеют, а жены на охоту больше не пустят.

Виктор не жадный, я знаю, но терпеть не может пятизарядок: говорит, неспортивно. Поэтому, чтобы отстали от него начинающие, картинно снимает с огромной высоты очередного вальдшнепа и, пока тот падает, ворчит им:

– Хватайте и дуйте на свой угол. Хватит женам и одного.

Старенькая вертикалка-тозовка Виктора висит теперь на суку рядом с моей выдавшей виды тулкой, и дым костра сушит капельки дождя, падающие на их стволы. Так висят наши ружья на охотах вот уже восемь лет, с тех пор как мы встретились с Виктором на работе и подружились. Нам нравится быть вдвоем, понимать друг друга с полуслова, нравится сидеть и сквозь треск пылающих дров слушать, как стучит дождь по веткам полуголых еще весенних деревьев.

Мы сидим у огня, разогреваем консервы, пьем чай.

Потом я прислоняюсь к стволу ели, под которой мы сидим, и блаженствую. Виктор ворошит головни, печет картошку в золе, и я опять замечаю большой рваный шрам на тыльной стороне его ладони.

– Витя, – спрашиваю я его, – с каких пор у тебя эта болячка?

– С давних, – отвечает он мрачно, бросает мне картошку и... молчит.

– Интригуешь, дружище, – подначиваю я. – Давно уже интересуюсь про себя: откуда да откуда, а ты инициативы не проявляешь.

Виктор как-то ежится, куксит широченные свои плечи, вперив взгляд в черный обожженный клубень, старательно его чистит и опять молчит. Я вижу, что невольно затронул что-то болезненное, мне неловко, и я уже хочу что-нибудь сказать, чтобы смягчить свою настырность, но Виктор вдруг начинает рассказывать...

Потом, когда мы устраиваемся под елью на рюкзаках и прижимаемся для тепла друг к другу, я не могу уснуть, все ворочаюсь и кричу. У меня стоит перед глазами рассказанное Виктором.

* * *

...Та голодная безотцовская послевоенная пора была форменным раздольем для деревенских мальчишек. Летом матери с утра до ночи маялись в поле, и они, родившиеся в предгрозовую пору, босоногие, в рваных запыленных рубашках, жили своей галдящей вольницей, предоставленные самим себе.

Псковская деревня, где родился Витька Большаков, стояла на перепутье военных дорог, и поэтому в сорок первом и в сорок четвертом в округе гремели бои, леса и поля были изрезаны траншеями, воронками и окопами. А еще окрестная земля была крайне замусорена колючей проволокой, неразорвавшимися гранатами, минами, брошенными винтовками – неизбежными отходами прошедших здесь сражений. После боев проходили здесь саперы – усталые санитары ратных полей. Да разве весь тот мусор собрать им было! Мальчишки – вот кто лучше всего справлялся с этой задачей. Сколько их изранено было и покалечено в то проклятое время, сколько погибло. Матери пробовали запираť сыновей дома, брали с собой на работу. Да разве удержишь! А потом опять где-

нибудь за речкой раздавался взрыв гранаты, разорвавшейся в чьих-то детских руках, и ребятишки кто бегом, кто ползком, оставляя красные капли на траве, сыпали в разные стороны... А потом опять, как в войну после похоронки, воют по деревне бабы, и не было, казалось, конца тому плачу.

Витьке и его брату долго все сходило, хотя уже не один осколок просвистел мимо их растопыренных ушей. Мать после работы кричала: «Поранитесь, паразиты, убью! Намучилась я с вами!» Долго сходили им с рук ковырянья в старых траншеях, да однажды кончилось это плохо.

Соседский парнишка рассказал по страшному секрету, что видел прошлой осенью на Красном болоте упавший самолет. Клюкву они там искали с матерью. Хотел один сходить и обшарить, да боится – вдруг там немец сидит. Пошли, говорит, посмотрим. Выбрали момент, пошли. Санька, младший Витин брат, увязался за ними. Его гнать, а он ультиматум: тады мамке расскажу! Пришлось взять.

Самолет они действительно нашли. На краю болота, задрал хвост, торчал вполне уцелевший остов нашего И-16. Позади стояла сосна со сломанной верхушкой. Летчика не было. Наверное, с парашютом прыгнул, решили мальчишки. Они облазили весь самолет, сунули нос во все дыры и щели, но ничего интересного, кроме множества крупнокалиберных патронов, не нашли. Сам пулемет никак было не вытянуть. Он вместе с двигателем прочно осел в болото. Тут же в лесочке разожгли костер, высыпали в него кучу патронов,

легли за деревья и стали ждать. Больше всего их интересовало, есть ли среди патронов трассеры – с трассирующими пулями. Ох и салют получился. Бах! Трах! Скачут головешки, летят искры, а трассеров множество. С визгом выскакивают и кружатся в воздухе с огненными хвостиками. Потом стихло. Лежали, лежали. «Конец фильма», – сказал Витька и первый встал, робко вышел из-за дерева. Не стреляет. Тогда он подошел к костру и стал ковырять в нем палкой: действительно ли все патроны уже пульнули? Сосед и Санька тоже осмелели, подкрались (сосед спрятался за Виктора) и смотрели на огонь широко раскрытыми от страха и восхищения глазами.

И тут выстрелило! И еще раз, и еще! Санька заорал и схватился за лицо руками. Витька тоже прикрыл глаза, и его ударило в руку. Он толкнул Саньку и упал на него. Давно уже все стихло, а брат все кричал и кричал, и из-под пальцев у него текла кровь. У Саньки выбило правый глаз. Свою рану Витька обмотал только дома, когда принес туда братишку.

Страшно сказать, но и после этого Витька, да и Санька тоже не бросили этого опасного и любимого занятия. Едва затянулись их раны, как они вновь начали шастать по старым окопам и блиндажам. Опять они взрывали, стреляли, снова летели вокруг осколки.

Раздолье ребятишек продолжалось, пока в деревне не появился дядя Вася, Василий Кошелев – один из совсем немногих мужиков, вернувшихся с войны...

Дядя Вася открыл настоящую охоту за любителями трюфеев. Если кого-то ловил на месте преступления, бил смертным боем, при этом назидал:

– А-а-а, кричишь, змей! А башку бы оторвало? Не так бы закричал! А-а-а! Мало тебе батки убитого! Н-на те еще по жопени, н-на! Увижу снова, сам башку оторву. Н-на!

И как он все визнавал, непонятно. Налетит, как коршун, вечером к кому-нибудь, мальчишку за шиворот сгребет:

– Вымай мины, змей!

А тому деваться некуда: все равно дядя Вася дознается. Да мать еще за хват:

– Домишко, ирод, взорвать хочешь!

И вынимает парнишка сокровенный склад свой откуда-нибудь из-под печки. А там мины, лимонки, иногда и винтовка.

Крепко стала бояться дядю Васю деревенская шантрапа, больше нечаянных взрывов в руках. Казалось, он караулит мальчишек повсюду. Кончилась их отчаянная вольница. Деревенские бабы очень зауважали дядю Васю, хотя иногда и ругались с ним, что мальчишек больно лупит.

– Жалейте, дуры, жалейте, потом сами же меня добрым словом помянете! – кричал в ответ дядя Вася. Витька всегда с опаской встречался с Василием Кошелевым, но в общем относился к нему хорошо. Главным образом из-за того, что дядя Вася почему-то очень уж вежливо обращался с его матерью. Однажды вечером, когда они с Санькой лежали на

печке и Санька всю уже сопел и всхрапывал, пришел дядя Вася и сел с матерью за стол. Витьке очень хотелось услышать, о чем они судачить будут, но у них пошли разговоры про нынешний захудалый урожай да про то, как зиму протянуть, а после сегодняшней косьбы ныла спина и руки и голова как-то отяжелела, отяжелела...

В другой уже вечер, когда произошло то событие, он проснулся от громкого разговора. В избе пахло махорочным дымом и самогонкой, и на печке под потолком было жарко и душно. Мать сидела в торце стола, там, где всегда теперь сидит Витька (отцовское место), голова ее была опущена, руки вниз ладонями устало лежали на столе.

– Всю-то душу ты мне измотала, Нина, всю, – говорил дядя Вася. Голос его вздрагивал, слова вылетали, как всхлипывания, как причитания. – Всего-то ты меня наизнанку вывернула. Всего! – При этом дядя Вася криво, морщинисто сжимал щетинистое лицо и горько мотал головой.

– Ну уж и всего, – вяло отозвалась мать.

– Д-а-а, всего-о-о! – пьяно загундосил дядя Вася и забордал воздух, как будто хотел брыкнуть какую-то помеху. – Ты что думаешь, я не помню, как мы с тобой гуляли, как цветы вместе нюхали? Все как у людей, все на мази уже было. А ты-то с Колькой спелась. – Дядя Вася скрипнул зубами, замолчал и хмуро добавил:

– И чего ты в нем нашла, Нина, чего? Кожа да кости, шкет, а не мужик. По сравнению со мной-то, а, Нина?

– Ты, Вася, не ходил бы к нам больше. А то люди чего-нибудь подумают, да и перед ребятами стыдно уж.

– Стыдно! – Дядя Вася пристукнул кулаком по столу, отчего звякнули миски. – А мне не стыдно за тобой с сосунков бегать! Нюрку свою ненавижу. К тебе ехал с войны, к тебе, а не к ней! Понимаешь? У меня с ей, заразой, детей даже нету. Ненавижу-у-у!

– Ну а что я поделаю? – как-то опустошенно, устало сказала мать. – Не люблю я тебя, Василий. А его люблю, хоть и покойник он теперь, наверно. Люб он мне, всю жизнь люб. Вот и все тут.

Дядя Вася вымученно и брезгливо поглядел на недопитую бутылку с самогонкой, обхватил ее огромной волосатой пятерней. Потом медленными бульками наполнил граненый стакан, вылил одним махом в рот, судорожно и брезгливо глотнул.

– Не любишь, значит. – Кошелев ссутулился, съежился, сунул меж коленей свои ладони. – Знаю, что не любишь. Всю жизнь знаю. – Помолчал и, набрав в грудь воздуха, как перед нырком, жестко добавил: – Вот за это я и рассчитался с твоим Колькой.

– Ты чего это, Вася, говоришь такое, где ты это с ним рассчитался?

– Свела судьба. Вместе воевали в одной части, вместе и в плен попали.

– А чего же ты раньше-то молчал? – губы у матери затряс-

лись. – Ну и что же дальше-то?

Дядя Вася склонил голову набок, как-то выпрямился, подбоченился даже, зло схватил опять бутылку и прямо из горлышка плеснул в себя остатки.

– А то и было дальше, что хорохорился он там много. Все сидят и не рыпаются. Я, Васька Кошелев, – дядя Вася стукнул кулаком по груди и отбросил руку назад, – сижу, как клоп в щели. Головы не поднять, расстрелы сплошные да крематории, с голодухидохнем. А он самый хитрый кабудто: бежать надо, бежать! Куда бежать, когда – Франция? А он по ночам мне талдычит: «Сопротивление, мол, партизанить будем!» Вот, думаю, шкет, петушится. И тут первым быть хочет! Потом, гляжу, сбил он с панталыку еще двоих – чеха и болгара. Братья-славяне, мать их в коромысло. – Щетина на щеке Кошелева опять сморщилась, он хмыкнул: – Поотговаривал я их сначала, а потом думаю: нет, славяне, ни вам не бывать, ни мне. Ну и шепнул одному человечку. Тот уж сообразил, что к чему. Тепленькими их и взяли, пикнуть не успели.

Мать уронила голову на руки и начала тихо плакать.

– А-а как ты думала! – Дядя Вася раскурил новую сигарку. – Там, брат, или тебя, или ты. Волчий закон!

Мать подняла от стола красные, вытаращенные, ничего не видящие глаза и чего-то, наверное, хотела спросить, но только шевелила губами.

– Поинтересоваться, наверно, хошь, чего дальше было? А

что, как обычно: поставили всех троих перед строем и в назиданье всем, как говорится... А после известно куда, в печку. — Дядя Вася после глубокой затяжки поперхнулся, протяжно и сипло закашлялся: — Выходит, что не на чего тебе надеяться, Нина. И пепла не осталось... А я, как видишь, сижу перед тобой... Живой...

Он поднял голову и уставился в глаза Витькиной матери.

— Подумай, Нина, не поздно пока ничего, ребят твоих я приму...

Витька воспринимал происходящее как кошмарный, нелепый сон. Вот как погиб батя... Перед ним сидел его убийца... Дядя Вася еще что-то назидательно толковал плачущей матери, крутил сигаркой. Витька, как в мучительном, тяжелом сне, с болью в голове и во всем теле, слез с печки, с трудом нашел ногой привычный ранее приступок. Дядя Вася смотрел на него молча. Витька не глядя нашарил у плиты полено, гортанно взвыл и побежал. Удар пришелся по табуретке, которую дядя Вася выставил перед собой. В следующее мгновение Витька, получив удар в поддых, лежал на полу.

— Не тронь парня, ирод! — вскочила мать.

— Да не трону я, не трону! — Нижняя челюсть дяди Васи тряслась, как в лихорадке. — Ишь набросился, змееныш! Весь в Кольку, сучий потрох! — И, не оглядываясь, качающейся, но уверенной походкой пошел к двери. Уже открыв ее, оглянулся: — Вот что, семейство, я того человечка сам убрал перед приходом американцев. Так что свидетелей нету. Не до-

казать вам. А ежели что, силенок у меня на вас хватит. – И, взглянув на мать, пьяно скривился: – «Не люблю-ю-у!» Ах ты... – и хлопнул дверью.

Мать упала на пол и затряслась в рыданиях. С печи таращил свой глаз Санька и выл что было мочи.

Для Витьки не было вопроса – что теперь делать. Он сразу все решил бесповоротно. В Ольгиной роще у него был припрятан пулемет, настоящий, ручной, дегтяревский, с набитым до отказа диском. Он лежал там в надежном месте, завернутый в промасленную тряпку, еще с прошлой осени. Пулемет работал что надо. Витька проверял его на лягушках в болоте. После очереди из воды полетели фонтаны брызг, лягушки с полчаса больше не высывались, а в ушах целый день стоял потом звон.

Однако сходить в Ольгину рощу прямо с утра не довелось. Спозаранок только вышел за калитку, а навстречу дядя Вася. Как что почувствовал. Стоит Витька перед ним, кулаки сжал, бледный весь, на лице ненависть смертельная.

– Ты, Витька, это... Я тут наговорил вчера...

А Витька уже шарит глазами и руками по траве, ищет булыжник. Нашел, выцарапал из земли ногтями, но удар сапога снова опрокинул его на землю. Витька корчится и кричит:

– Все равно прибыю гада!

Дядя Вася уходит. Идет опять медленно, уверенно, не оглядываясь. Знает свою силу.

Витька весь день промаялся дома. Боялся выходить, знал,

что Кошелев следит за ним, потому что тоже боится. И он решил – в ечером еще лучше, страшнее будет тому помирать. Сидеть в избе было тяжело. Мать не пошла на работу и весь день проплакала. Санька тоже выл, но больше с перепугу, он толком ничего не понял.

Место, где зарыт пулемет, Витька нашел сразу, хотя стояли сумерки и в лесу плавала темень. Вынул из-под куста припрятанную саперную лопатку и откопал. А когда развернул из тряпки и погладил вороненый ствол, все страхи окончательно покинули его, вернулись спокойствие и уверенность.

Напротив дома Кошелева лег в траву, чтобы успокоиться после бега и убедиться, что хозяин в избе. Точно, дома! Вон теень его носатая на занавеске. Сидит, чаевничает...

Витька не стал красться к избе. Уверенно, как долгожданный гость, поднялся на крыльцо, повернул заложку, вошел в сени, сразу нащупал ручку и распахнул дверь...

Дядя Вася сидел с поднятой чашкой, Нюрка – напротив. Как увидели Витьку в дверях, Нюрка в визг, а у хозяина глаза полезли на лоб.

– Ты чего это? Чего это?

– Прощайся с жизнью, гад!

Витька передернул затвор. Дядя Вася вдруг швырнул свою чашку в Витьку и бросился на него. Но Витька дал очередь...

Кошелев хрястко стукнулся локтями о пол и замер. Нюрка сидя вжалась в стенку, бледная, как полотно.

Все.

Пулемет Витька спрятал под хлев и устало вошел в избу. Мать лежала на кровати в углу и тихо всхлипывала. Санька сопел на печке. Витька сел на лавку и уснул сидя... Утром к ним приехал милиционер и велел отдать пулемет. Витька не сопротивлялся, был тих и послушен. Мать, видя, что сын опять что-то натворил, дала на всякий случай пару затрещин и устало проговорила:

– Ну сил нету тебя лупить, ну нету больше сил!

Витьку повезли в район, но он был к этому готов. Однако, когда телега проезжала мимо дома Кошелева, ему стало страшно и обидно: дядя Вася стоял у калитки и курил сигарку, молча глядя на телегу. На голове у него была кепка, из-под кепки белел бинт.

В районном отделении его продержали трое суток. После первого дня тамошних мыканий Витька ворочался на замуколенном топчане и полночи проревел. Где справедливость? Предатель ходит на свободе и злорадствует сейчас, конечно, над ним, а Витьку допрашивает хмурый, недоверчивый лейтенант. Все интересуется: какое еще оружие прячешь? Что видел у других? И на каждый ответ: «Врешь! Врешь ведь!» В конце концов Витька разревелся, озлобился и замкнулся: ничего не знаю. А лейтенант грозил колонией, говорил, что школы Витьке больше не видать. Вот это Витька выносил с трудом. В школу ему очень хотелось. Когда лейтенант отвел

его на топчан, Витька все же огрызнулся: «Все равно пришью гада!» Лейтенант мрачно пообещал: «Поговорим еще». Где справедливость?

На другой день его отвели в кабинет, на котором было написано: «Начальник отделения». Витька совсем струхнул. За столом сидел пожилой капитан, седой, с усталыми глазами. На кителе пестрели орденские планки.

Когда они остались вдвоем, капитан хмуро посмотрел на Витьку и сказал:

– Чаю хочешь?

Витька шмыгнул распухшим за ночь носом и отрицательно тряхнул головой.

– Ладно, знаю я твои харчи. Ишь, обиделся. Молчит, как партизан в гестапо на допросе. – Капитан вдруг улыбнулся. – Тоже мне, народный мститель выискался! – И стал разливать кипяток в две железные кружки.

Потом они пили ядреный красный напиток, которого Витьке не доводилось пробовать сроду. Пошли какие-то разговоры о том о сем, о сенокосе, о рыбалке. Как-то само по себе вышло, что рассказал Витька капитану и о своем пулемете, и о дяде Васе, и об отце. Капитан внимательно все слушал, ходил по кабинету. Потом подошел к Витьке и пригладил его вихры.

– Понимаешь, парень, если все так, как твой дядя Вася подает, тут и впрямь ничего не докажешь. Хотя мы прове-

рим, конечно, — сказал это капитан не очень уверенно и убедительно, и Витька как отрезал:

— Тогда я его все равно пришью. Сам за батьку отомщу, если вы не можете.

И даже кружку от себя отодвинул демонстративно.

— Да, парень, задал ты нам задачу. — проговорил капитан задумчиво и как-то извинительно добавил: — Ну ты, Витя, побудь у нас еще немного. Мы тут решим.

И Витька пошел на свой топчан. А на другой день та же телега повезла его в деревню. Капитан сам усадил его, опять пригладил волосы и почему-то сказал:

— Хороший ты парень, надежный. — Помолчал, потом добавил: — А с Василием Кошелевым мы разберемся.

В деревне он увидел дом Кошелева с заколоченными окнами. Ему сказали, что дядя Вася и Нюрка срочно собрались и уехали неизвестно куда.

* * *

Вот такой увидел я историю, рассказанную моим другом. Думал, лежа на земле, что не усну, и надеялся поднять Виктора, как только забрезжит первый свет. Получилось наоборот, он меня растолкал, обозвал засоней. Как всегда. Он признанный лидер нашего дуэта. Я это и не оспариваю. Я им горжусь.

Утренней тяги не получилось. Прохоркало только два.

Одного Виктор снял. Кто их поймет, этих вальдшнепов? Птица — она же не человек, она же не расскажет.

Но мы не в накладе и не в обиде. Мы побыли опять на охоте, вдохнули запахи весенней прели, услышали, как просыпается природа, посидели ночь у костра. Мы отдохнули...

На обратном пути Виктор, сидя за рулем, все вспоминал свою дочурку, крохотную совсем и смешную. Я его слушал, улыбался вместе с ним, но не мог не думать о вчерашнем его рассказе, сидевшем во мне острой занозой. Наконец я не выдержал и, круто бросив разговор в сторону, так и сказал, что это несправедливо: неужели дядя Вася остался в жизни без наказания? Без суда Божьего или человеческого?

Виктор сразу помрачнел, умолк, но все же рассказал мне, как долго искал он следы Василия Кошелева и как совсем недавно узнал, что судьба обошлась с ним закономерно беспощадно: Кошелев окончательно спился, да он и раньше временами впадал в дикий, необузданный запой, Нюрка его бросила. Сам он поначалу шабашничал по деревням, пока совсем не опустился: стал бродягой, последним побирушкой и однажды сунул голову в петлю на чердаке у какой-то горькой вдовушки.

Неохотно и трудно закончив свой рассказ, Виктор прибавил газу, и наша машина полетела в город по бетонке посреди безбрежного березняка. Мелькали по сторонам и убегали назад белые в зеленом весеннем пуху деревья. К ветровому стеклу приклеивалась роса и растекалась к краям прозрач-

ными струйками. На горизонте становилось светлее.

За форелью

Монотонный и резкий гул заполнил все вокруг. Старый шестисильный стационар-топного жмет на все свои хилые обороты и стучит с надрывным, но ровным напрягом. Из стоящего торчком глушителя выхлопывается дым, и набегавший сзади порывистый ветерок уносит его вперед, стелет перед лодкой. Тяжелый, набрякший от многократной про-smолки карбас медленно идет вдоль берега. Мимо проплывают огромные всосанные в песок валуны, на которых белеют пятна чаек; громоздятся холмы, поросшие густым лиственным лесом, вылизанным и придавленным к земле холодными морскими ветрами. Сейчас карбас огибает высокую гору, на которой стоит маяк.

Костя, плотный пятнадцатилетний парнишка, сидит на передней банке и, задирая голову так, что кепчонка его чудом держится на затылке, смотрит, как через равные промежутки на самой макушке маяка вспыхивает маленький бледный огонек.

– Шесть! – кричит он радостно Мишке.

А у того уши забиты грохотом мотора. Мишка примостился у самого глушителя. Выхлопной дым летит к нему в рот и ноздри, он морщится и озабоченно посматривает на движок, трогает крышку цилиндра: не перегрелась ли?

– Чего-о? – затыкая уши и щурясь, горланит Мишка.

– Через шесть секунд, говорю, вспыхивает!

– А-а-а, – понимающе трясет Мишка головой, ничего, конечно, не разобрав в крике напарника, а так, чтобы не приставал со всякой чепухой.

Они едут на форель. Едут далеко. За тридцать километров от поселка, на знаменитую Усть-Яреньгу. Форель водится, конечно, и в окрестных речках, и Мишка с Костей бывали и там, но что они по сравнению со знаменитой Усть-Яреньгой, бурной таежной Усть-Яреньгой, впадающей в море, где на перекатах ловит беспомощных мальков хищная кумжа, куда из моря идет на нерест семга. Только там, в круговерти быстрой реки, рыбак может испытать себя, сдать экзамен на право ловить форель. И Костя, и Мишка раньше уже приезжали сюда с отцами, но это было давно, лет пять назад, и тогда они почти ничего не поймали, а лишь прыгали вокруг родителей, дрожа от восторга...

Вот и Банный наволок – гряда высыпанных в море огромных валунов, словно стояла когда-то на берегу высоченная гранитная башня, а потом упала далеко в море и разбилась на куски. Здесь живут тюлени и нерпы. Вот и сейчас они, заведя людей в море, нехотя сползают в воду с нагретых камней.

Мишка заводит нос карбаса в море и, старательно держа лодку подальше от камней, огибает наволок. Он знает: огромные валуны рассыпаны и на глубине, и их острые вершины едва скрывает вода. За Банным наволоком откры-

лась Семужья лахта, а на берегу – старый рыбный склад с провалившейся крышей. Склад стоит в устье реки.

На море в это время отлив, и карбас, прежде чем достичь береговой кромки, застревает на каменистой отмели. Приятители отгибают голенища отцовских сапог и протаскивают лодку между камнями. Косте уже совсем не терпится. Он сопит и с подвыванием, нервно подпрыгивая, словно его тело пронизывает некий зуд, помогает Мишке выгрузить и перенести в склад вещи, поставить карбас на рейд. Потом Костя лихорадочно, путаясь и проклиная неизвестно кого, разматывает лесу, привязывает к длинному сухому удилищу и, укалываясь и злясь при этом, насаживает червяков на большой форелевый крючок.

– Ты чего это? Совсем обалдел? – наблюдая за его суетой и хохоча, спрашивает Мишка.

Но Костя уже бежит к Усть-Яренье и, смешно скрючившись, подкрадывается из-за бревен к воде. Затем осторожно, пятясь, делает заброс в плавное течение; Мишка у склада сидит от хохота на корточках, потом падает на четвереньки и, задирая на Костю голову, сквозь смех кричит:

– Ну какая! Ну какая рыба на заплестке да на солнце клюнет! Дохлая разве!

Но Костя молча грозит Мишке кулаком и делает заброс за забросом.

Мишка тоже готовит снасть и, сунув в карманы банку с червями, забросив за плечи рюкзак, идет по протоптанной

многими поколениями рыбаков тропинке к старым пожням, туда, где Усть-Яреньга в тени высоких трав и кустов делает крутые буйные повороты, чередующиеся с глубокими, тихими, темными омутами.

За Мишкой бежит Костя.

Ах, форель! Золотая форель! Огненно-быстрая, в темных радужных пятнышках, скользкая, осторожная, сильная, хищная рыба, маленький лосось. Уметь ловить ее – значит быть настоящим рыбаком. Как молния, бросается она на приманку, если рыбак смог перехитрить ее, если он ее достоин. Но когда с ней состязается новичок или небрежный рыбак, труд его напрасен.

Солнце уже уронило в небо последние лучи с верхушек самых высоких деревьев, когда Костя и Мишка оторвались от форели и пошли, почти побежали на берег. Их рыбалка не прошла напрасно, рюкзаки были увесисты, и в спину каждого ударяли упругие хвосты еще не уснувших рыб. У старого склада они разожгли костер и сварили уху из форели с перцем и с картошкой, прихваченной с собой из дома. И долго еще в темное небо августовской ночи вместе со струйками искр летели их громкие, восторженные мальчишечьи голоса.

С раннего утра Костя и Мишка вновь были на реке и опять с дрожью в руках смотрели на полавки, стараясь не пропустить момента, когда бегущий по бурунам поплавок резко прыгнет вниз. А полавки прыгали все чаще и чаще, и ребятам, захваченным азартом хорошей рыбалки, совсем не

хотелось возвращаться домой. Но над каждым из них, как дамоклов меч, висел неукоснительный материнский наказ: вернуться домой сегодня к вечеру. Поэтому, когда солнце стало приближаться к зениту, они обреченно поняли: пора собираться.

После долгой возни у мотора, безуспешного ковыряния в свечах, трубках, магнето, карбюраторе, проклятий в адрес старой развалины движок, в силу только ему ведомых процессов и тайн изношенного устройства, наконец обнадеживающе стреляет несколькими дробными тактами и вот уже сгоняет чаек с ближних валунов громким треском. Карбас уверенно и ходко движется теперь в обратном направлении. На море стоит почти полный штиль. Ветерок, дувший с утра от берега, к полудню совсем зачах и словно уснул в подогретом воздухе. Костя опять сидит на передней банке и, завернув края полиэтиленового мешка, в котором лежит форель, замороженно и с умилением на нее смотрит. Столько дома теперь будет рассказов, преувеличенно похвальных оханий матерей (вырастила кормильца), отчаянной зависти сверстников! Оправдала Усть-Яреньга мальчишечьи мечты.

Мишка регулировал трубку водовыбрасывателя, когда услышал сквозь гул глушителя Костин крик. Тот с выпученными глазами показывал пятерней на море, куда-то вдаль. Мишка посмотрел туда и ничего не разглядел. «Опять с дурью какой-то лезет», – подумалось весело, но встревоженные глаза приятеля заставили его еще раз глянуть на море.

То, что он увидел, обдало ознобом, просквозившим все тело. Линия моря на горизонте ломалась, над ней вырастали длинные темные прямоугольники, словно там, вдали, от иссушающего зноя играл мираж. Но то был не мираж и не зной. И Мишка, и Костя – поморские мальчишки – с ужасом поняли. на них с моря идет шквалистый ветер, этот «мираж» – первый его признак. Костя, не зная, что делать, растерянно засуетившись, стал натягивать фуфайку, а Мишка часто и глубоко засопел и уставился в мотор, потом дожал рычажок газа до самого нижнего притыка, что отец разрешал делать только в исключительных случаях: быстрее изнашиваются кольца у поршня. Топнога загудела протяжно и надрывно, как загнанное животное, но обороты заметно прибавились, и карбас пошел ходче.

«Только бы успеть завернуть за Вороний мыс», – думает Мишка.

А кругом голубой бездыханный штиль, прозрачный воздух медленно покачивает свое ленивое прогретое тело на водной глади. Ничто еще не кричит, не сигналист о приближающемся шторме. Ничто, кроме миража и черной тучи, которая уже начинает вылезать из-за горизонта. Приятели сидят, обреченно нахохлившиеся, тревожно посматривая в даль, которая темнеет на глазах.

И вот оттуда, из этого чернеющего далека, как первый вестник нападения, словно первая стрела, пущенная самой сильной рукой, море прорезала острая темно-синяя полоса

ряби.

Только бы успеть за Вороний мыс!

Через несколько минут стрелы пошли уже стоями. Мишка, вдруг сообразив, круче повернул нос лодки в море: надо держать подальше от берега, здесь мелко, каменисто, на волне тут разобьет. Надо на глубину.

Боковой ветер стал налетать порывами, постепенно набирая мощь, раздувая гигантские мехи. Пошла первая зыбкая, неровная волна, вся в густой темной ряби, словно крокодила спина. Костю, бледного, вконец растерянного, стало на носовой банке плюхать и покачивать, он пересел прямо на днище и взялся за борта обеими руками. У Мишки в голове колотится мысль-вопрос: стоит ли ему или нет приставать к берегу? Ведь еще вполне можно успеть. Но, как назло, здесь сплошные каменные гряды. Карбас негде спрятать, разобьет вдрызг. А до берега, чтоб лодку вытянуть, не добраться. Мелко. Нет, надо за Вороний мыс. Там глубина и бухты удобные. Скорее туда!

Но карбас плетется черепашим ходом, и уже подступают волны, нагулявшие на просторе силу, бьют в борт, в провалах между ними валы закрывают берег. Мишке страшно, но он замечает, что Костя совсем сдрейфил: схватился мертвой хваткой за ручку пустого бачка из-под бензина и сидит на днище скрючившись. «Соображает, за что держаться надо», – зло думает Мишка, пустой бачок – проверенное спасательное средство, и криком и знаками подзывает Костю к

себе. Тот кое-как подползает, смотрит остолбенело.

– Приготовь черпак лучше, балбес, готовься воду выкачивать! – кричит Мишка, срываясь на визг.

И Костя послушно шарит и под брезентом находит черпак. Но, взяв его как-то рассеянно, машинально, из второй руки не выпускает бачка. «Совсем скис», – думает, глядя на него, Мишка, но ему сейчас не до Кости. Началось то, чего Мишка боялся больше всего: пошли валы с барашками. Барашки – это гибель для лодки, если подставишь под них борт. Они не качают, они захлестывают. И Мишка весь превратился во внимание. Как только сбоку вдали появляется белый гребень, он резко тянет руль назад, и карбас встречает коварную волну носом. На эти галсы уходит время, и карбас вроде и не движется вперед, а только крутится. Когда лодку подбрасывает, вдали уже виден маяк: там Вороний мыс. Значит, все же движется.

Еще Мишку страшит мотор. Как молитву он шепчет: «Ну давай, развалюшечка, потяни еще чуток!» Мишка знает, что движок сразу заглохнет, если на магнето попадет вода. А брызги все летят в лодку от барашков, и магнето, кажется, торчит и выступает из мотора прямо под брызги... Мишка пытается закрыть мотор собой, но тогда он не успевает следить за волнами. Один раз плеснуло очень сильно, и его окатило всего: гребень возник перед самым бортом, но топнога чудом не заглохла, только зашипела. «Заглохнет – пропали», – понимает Мишка. В такой шторм в открытом море

не спастись. Сейчас очень бы помог Костя, но он сидит оцепенелый, бледный, ничего, видно, не соображает. И Мишка один, с огромным трудом, неимоверно ругаясь, балансируя и постоянно дергая руль туда-сюда, напяливает-таки край брезента на мотор.

Так проходит, наверно, много времени, но Мишка ничего не замечает, кроме волн и барашков, которые надо встречать носом карбаса. Но вот по курсу уже видны гряды белых россыпей волн. Это Вороний мыс. Его надо обходить стороной, потому что напрямик через эти белые волны не прорваться, и Мишка идет на ветер...

Когда казалось, что главные трудности остались позади, когда обошли уже Вороний, откуда-то сзади, из-за кормы внезапно выдернулась ладонь гребня и как будто шлепнула по мотору всей пятерней. Мотор заглох, и стало до ужаса тихо. Мишка, не раздумывая, что надо делать, и перемахнув через движок, бросился к веслам. Отбросив отяжелевшего Костю от сиденья, чтоб не мешал, он быстро вставил весла в уключины и стал разворачивать нос опять на ветер. Но карбас почти не двигался. Сил у Мишки явно не хватало. На его глазах властно и как-то хладнокровно подошла огромная волна с барашком наверху, безжалостно перелезла через борт и залила все, что лежало на дне. Карбас сразу огруз и совсем перестал подчиняться. «Все, следующая волна будет последней», – мелькнуло у него в голове, и он что было силы потряхнул Костю за плечи:

– Помогай! Потонем!

Тот не сопротивлялся и равнодушно сидел прямо в воде. Мишка развернул его за волосы и вклепил такую затрещину, что Костя откинулся набок и сразу же проснулся:

– Ты чего, сдурел?

– Хватай весло! Сдохнем!

Скрипя уключинами, корчась и охая от усилий, они все же под самый очередной гребень развернули карбас против ветра и держали так долго, пока ветер и волны гнали их к берегу. Метрах в семидесяти от него, там, где начинаются россыпи, их подхватил огромный вал и, держа на своем высоком кипящем хребте, добросил почти до самого берега. Потом, подождав короткой передышки между волнами, они кое-как развернули лодку носом к берегу и наконец уткнулись в прибрежные камни. Но пока выскакивали, выбрасывали принадлежности для вытаскивания лодки на сушу, ее все же сместило немного назад, и накатная волна залила карбас до бортов. Он осел на морское дно и крепко за него зацепился всем своим тяжелым корпусом.

Теперь начиналась работа, требующая затраты еще больших сил. Необходимо было поднять перегруженный мокрой поклажей и забортной водой карбас из морского плена на берег.

Мишка понял, что с этой задачей им не справиться, если хоть маленько не передохнуть. Лодку все равно уже не унесет, она стоит вся в воде, и прибойный ветер и волна прижи-

мают ее к берегу. Приказал Косте:

– Садись, перекурим.

Сам сел прямо на мокрый, скользкий валун. Костя тоже. Какое-то время они, усталые, поникшие, молча глядели, как разбитые в каменьях волны переваливают через верх старого карбаса, гуляют над ним, не замечая никаких преград, а потом тяжело плюхают о камни, сгрудившиеся на берегу, шипят, словно погибающие змеи, и теряют свою недюжинную силу. Видеть свой карбас погруженным в морскую воду мальчишкам еще не приходилось: на любого помора такое зрелище нагоняло жуть. Что-то с этой жутью надо было делать, как-то ее прекратить, и Мишка с Костей, посидев на каменьях совсем немного, молча решительно поднялись. Нельзя же долго глядеть на гибель.

За считанные минуты они заострили топором и вколотили в берег прочную короткую слегу, уперев ее в лежащее поперек тяжелое, всосанное в мокрый песок бревно, изготовили воротной кол, надели на слегу бадейку – полую чурку, и вот уже Мишка бежит к карбасу, на ходу разматывая веревку-шейму, и кричит:

– Готовь кол воротить!

Костя вправляет кол в петлю и сначала бегом, потом медленно, с напрягом начинает ходить вокруг бадейки. Веревка натягивается, сбрасывая налипшие водоросли, Костя наклоняется вперед, упирается скользящими по сырости сапогами о камни и бревна и что есть моченьки толкает грудью и ру-

ками упругий воротной кол. Карбас, уже всосанный в песок, не хочет никак шевелиться и поначалу почти не двигается.

Но вот упрямая сила все же на чуточку, на несколько сантиметров двигает его вперед. Карбас, вылезая из глубины, вздымает сначала один борт, потом другой. А Мишка в это время рыщет в поисках катков. Нашел один, подбежал, сунул в воду под киль. Карбас подмял его под себя, и, пока полз по нему, Мишка принес второй каток...

Когда над волнами, над водой явственно оголились оба борта, когда нос лодки вылез на берег, мальчишки с двух ее сторон поставили подпорки из валяющихся на берегу обрезков бревнышек, отчего карбас перестал переваливаться с боку на бок, и черпаком-плещей попеременно выкачали забортную воду...

Ветер все не унимается, свищет и лютует на просторе. Волны, раскрывая белые пасти, набрасываются на прибрежные камни, словно норовят их сожрать. Мишка и Костя, понурые, сидят на бревне рядом с вытащенным на берег карбасом. Продрогшие, со стучащими зубами, они страшно довольны, что карбас и мотор остались целы, что отец и мать не очень сильно будут ругаться.

Над ними на высоченной горе через равные промежутки – через шесть секунд – вспыхивает маяк. Море, вылизывая гальку, выбрасывает на берег золотистых в пятнышках рыбок – пойманную ими форель.

Королевская охота

Егерь Мелентьев, когда выпьет, очень добрый, и все этим пользуются. Такое наобещает... И, что самое для него плохое, – помнит на другой день, чего наобещал. Конечно, во время охоты – ни-ни и упаси господи, чтобы чего другого там, кроме чая из термоса. Но мужик он простой и честный и, помня обещанную накануне королевскую охоту, всегда мучается страшно. А потреблять эту самую горькую приходится егерю куда как часто. Есть на то несколько причин. Главные из них две. Первая: Мелентьев до нее охоч сам. Вторая: егерский обход у него один из самых богатых (если не самый) в охотхозяйстве, и желающих побывать на его базе предостаточно. А это, само собой, означает пред- и послеохотные посиделки, разговоры, то да се...

Вот опять. Егерь только что пришел из бани и, покрасневший, ословелый, с капельками пота на лбу, присел было с сыном к накрытому столу, как – пожалуйста! Стрельнули светом по стеклам фары подъехавшей машины, и сразу залаял, загромыхал у крыльца цепью Амур.

– Леший несет! Поест с семьей не дадут, – заерзала на стуле Татьяна, жена Мелентьева, давно, впрочем, привыкшая к таким вот вечерним наездам охотников.

– Ну ты эт, не скандаль – работа... – привычно, с равнодушием, больше для порядка возразил егерь и, сняв с

гвоздя военную, с егерской кокардой шапку, плюхнул ее на непросохшие причесанные назад волосы.

Около базы, уже въехавшая в калитку, стояла легковая машина «волга» черного цвета.

«Солидный кто-то, начальство, может», – прикинул для себя Мелентьев и на всякий случай приосанился, поправил шапку, сунул руки в карманы; шубу, однако, не застегнул, так и подошел с распахнутыми полами, трезвый и серьезный. Как и положено.

В машине сидели трое. Первым действительно выскочил представитель руководства – с тарший охотовед Тарасов, прямой начальник егеря Мелентьева, пухлый, вечно добродушный и говорливый. Раскинул руки, полез обниматься, от машины закричал:

– Алекса-андр Трофимыч! Лучшему егерю привет!

Но, обхватив Мелентьева, зашептал страстно-торопливо:

– Выручай, Трофимыч, инспекторская проверка... Надо сделать охоту по высшему!

Опытному егерю чего долго объяснять: надо так надо. Мелентьев заулыбался и стал ждать дальнейших распоряжений.

Машина немного еще пофырчала и умолкла. Вылез шофер, щуплый и востроносенький, в пыжиковой шапке и унтах, мельком кивнул егерю и пружинно, с вальяжностью прошелся к багажнику. «На управляющего трестом тянет, – подумал Мелентьев, – не меньше».

Потом вышел последний, третий пассажир. Лет пятиде-

сяти, высокий, в меховой куртке и валенках. Он подошел к егерю, просто улыбнулся, протянул руку и представился:

– Юрий Николаевич.

Улыбнулся еще раз, по-доброму, так, как старому, проверенному в переделках другу, и добавил:

– Алексеев.

«Кто же из них проверка?» – недоумевал в первую минуту Мелентьев. Но потом Юрий Николаевич дружелюбно и спокойно сказал «управляющему трестом»:

– Витя, барахлишко мое не забудь в тепло забросить, ладно?

И тот заторопился у багажника, суетливо стал навешивать на плечи пакеты, рюкзаки, ружье... Мелентьев понял тогда, кто из них главный.

Тарасов хлопотал тоже. Он громко хвалил Трофимыча за то, что хорошо протопил базу, что подметены полы, что работает холодильник.

– А мы туда их сейчас, голубушек, чтоб со слезой было!

И засовывал бутылки в морозилку.

Койку Юрия Николаевича он пододвинул ближе к печке и застелил сам. Тот, правда, протестовал, но старший охотовед деловито урезонил:

– Вы еще не знаете местных условий.

Потом было застолье.

Кто из охотников не любит этого священнодействия, этого неизбежного сладостного атрибута лесных вылазок, когда

позади пыльный, утомивший город, а впереди страсть новой охоты, встреча с чистотой леса, природы.

Егеря, как и положено, усадили в торец стола, на почетное место, первый тост подняли тоже за него. Это традиция. Тарасов встал, поднял на уровень плеча руку с бокалом, погусарски согнул в локотке и в короткой приветственной речи отозвался о Мелентьеве как о егере, который может организовать любую охоту и с которым просто приятно иметь дело.

Потом еще и еще раз выпили за егеря, за его здоровье и благополучие, за жену, «тетю Таню», за детей. Мелентьев разомлел и, как обычно, подобрел. Глаза у него заискрились, пот со лба полил гуще. Слышать в свой адрес тосты ему нравилось, но егерь старательно скромничал и каждый раз, подымая стопку, подбоченивался, махал свободной рукой:

– Да ла-а...

– Не ладно, а так и есть! – шумел энергично тостирующий Тарасов.

А Юрий Николаевич тихо, но твердо добавлял:

– Со стороны виднее, Александр Трофимович.

Шофер Витя в разговор не вступал, только сосредоточенно жевал, кивал головой и все больше багровел от выпитой водки.

– А где сын-от? Ванька-то? – всколышился старший охотовед. – Соврал бы чего, без него не компания.

– Да заче-е... – протянул Мелентьев, морщась и улыбаясь одновременно. Ему было приятно, что вспомнили и о Вань-

ке, о сыне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.